



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ
АНТ. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

Съ двумя портретами — при I и XVII томахъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Изъ записокъ вепильчичаго челоуѣка. — Тессе!. — Местъ. — Длинный языкъ. — Нервы. — Кривое зеркало. — На кладбищѣ. — Сапоги. — Радость. — Умный дворникъ. — Въ циркульѣ. — Сапожникъ и нечистая сила. — Мальчики. — Иванъ Матвѣичъ. — Беззащитное существо. — Дамы. — Подливка. — Приданое. — Свадьба. — Темнота. — Мыслитель. — Дочь Альбиона. — На чужбинѣ. — Кухарка женится. — Шило въ мѣникѣ. — Драма. — Произведеніе искусства. — Орлеанъ. — Смерть чиновника. — Капиталь. — Хирургія. — Винтъ. — Капитанскій мундиръ. — Живая хронологія. — Воеклицательный знакъ. — Ну, публика! — Пересолилъ. — Налимъ. — Хамелеонъ. — Клевета. — Шведская спичка. — Художество. — Упразднили!

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

<http://rcin.org.pl>

АНТ. П. РЕХОВА

ДОКТОР СТУДИИ

1915 г. в Императорском театре в Москве



Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Марксы, Измайл. просп., № 29.

РАЗСКАЗЫ.

PAZCERZKI

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ВСПЫЛЬЧИВАГО ЧЕЛОВѢКА.

Я человекъ серьезный, и мой мозгъ имѣетъ направленіе философское. По профессіи я финансистъ, изучаю финансовое право и пишу диссертацию подъ заглавіемъ: «Прошедшее и будущее собачьяго налога». Согласитесь, что мнѣ рѣшительно нѣтъ никакого дѣла до дѣвицъ, романсовъ, луны и прочихъ глупостей.

Утро. Десять часовъ. Моя мама наливаетъ мнѣ стаканъ кофе. Я вышиваю и выхожу на балкончикъ, чтобы тотчасъ же приняться за диссертацию. Беру чистый листъ бумаги, макаю перо въ чернила и вывожу заглавіе: «Прошедшее и будущее собачьяго налога». Немного подумавъ, пишу: «Историческій обзоръ. Судя по нѣкоторымъ намекамъ, имѣющимся у Геродота и Ксенофонта, собачій налогъ ведетъ свое начало отъ...»

Но тутъ слышу въ высней степени подозрительные шаги. Гляжу съ балкончика внизъ и вижу дѣвицу съ длиннымъ лицомъ и съ длинной таліей. Зовутъ ее, кажется, Наденька, или Варенька, что, впрочемъ, рѣшительно все равно. Она что-то ищетъ, дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ меня, и напѣваетъ:

«Помнишь ли ты тотъ напѣвъ, вѣги полный...»

Я прочитываю то, что написалъ, хочу продолжать, но тутъ дѣвица дѣлаетъ видъ, что замѣтила меня, и говоритъ печальнымъ голосомъ:

— Здравствуйте, Николай Андрейчъ! Представьте, какое у меня несчастье! Вчера гуляла и потеряла большошку съ браслета.

Перечитываю еще разъ начало своей диссертации, направляю хвостикъ у буквы «б» и хочу продолжать, но дѣвица не унимается.

— Николай Андреичъ,—говоритъ она:—будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиныхъ такая громадная собака, что я не рѣшаюсь идти одна.

Дѣлать нечего, кладу перо и схожу внизъ. Наденька, или Варенька, беретъ меня подъ руку, и мы направляемся къ ея дачѣ.

Когда на мою долю выпадаетъ обязанность ходить подъ руку съ дамой или дѣвицей, то почему-то всегда я чувствую себя крючкомъ, на который повѣсили большую шубу; Наденька же, или Варенька, натура, между нами говоря, страстная (дѣдъ ея былъ армянинъ), обладаетъ способностью нависать на вашу руку всею тяжестью своего тѣла и, какъ пѣявка, прижиматься къ боку. И такъ мы идемъ... Проходя мимо Карелиныхъ, я вижу большую собаку, которая напоминаетъ мнѣ о собачьемъ налогѣ. Я съ тоской вспоминаю о начатомъ трудѣ и вздыхаю.

— О чемъ вы вздыхаете?—спрашиваетъ Наденька, или Варенька, и испускаетъ сама вздохъ.

Тутъ я долженъ сдѣлать оговорку. Наденька, или Варенька (теперь я припоминаю, что ее зовутъ, кажется, Машенькой) откуда-то вообразила, что я въ нее влюбленъ, а потому считаетъ долгомъ человѣколюбія всегда глядѣть на меня съ состраданіемъ и лѣчить словесно мою душевную рану.

— Послушайте,—говоритъ она, останавливаясь:—я знаю, отчего вы вздыхаете.— Вы любите, да! Но прощу васъ именемъ нашей дружбы, вѣрьте, та дѣвушка, которую вы любите, глубоко уважаетъ васъ! За вашу любовь она не можетъ платить вамъ тѣмъ же, но виновата ли она, что сердце ея давно уже принадлежитъ другому?

Носъ Машеньки краснѣетъ и пухнетъ, глаза наливается слезами; она, повидимому, ждетъ отъ меня отвѣта, но, къ счастью, мы уже пришли... На террасѣ сидитъ Машенькина тата, женщина добрая, но съ предразсудками; взглянувъ на взволнованное лицо дочери, она останавливается на мнѣ долгій взглядъ и вздыхаетъ, какъ бы желая сказать:— «Ахъ, молодежь, даже скрыть не умѣет!» Кромѣ нея на террасѣ сидятъ нѣсколько разноцвѣтныхъ дѣвицъ

и между ними мой сосѣдъ по дачѣ, отставной офицеръ, раненый въ послѣднюю войну въ лѣвый високъ и въ правое бедро. Этотъ несчастный, подобно мнѣ, задался цѣлью посвятить это лѣто литературному труду. Онъ пишетъ «Мемуары военнаго человѣка». Подобно мнѣ, онъ каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успѣетъ написать: «Я родился въ ...», какъ подъ балкончикъ является какая-нибудь Варенька, или Машенька, и раненый рабъ Божій берется подъ стражу.

Всѣ сидящія на террасѣ чистятъ для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить, но разноцвѣтныя дѣвицы съ визгомъ хватаютъ мою шляпу и требуютъ, чтобы я остался. Я сажусь. Мнѣ подають тарелку съ ягодой и шпильку. Начинаю чистить.

Разноцвѣтныя дѣвицы говорятъ на тему о мужчинахъ. Такой-то хорошенькій, такой-то красивъ, но не симпатиченъ, третій некрасивъ, но симпатиченъ, четвертый былъ бы недурень, если бы его носъ не походилъ на наперстокъ и т. д.

— А вы, m-r Nicolas, — обращается ко мнѣ Варенькина мама: — некрасивы, но симпатичны... Въ вашемъ лицѣ что-то есть... Впрочемъ, — вздыхаетъ она: — въ мужчинѣ главное не красота, а умъ...

Дѣвицы вздыхаютъ и потупляютъ взоры... Онѣ тоже согласны, что въ мужчинѣ главное не красота, а умъ. Я косо поглядываю на себя въ зеркало, чтобы убѣдиться, насколько я симпатиченъ. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щекахъ, волосы подъ глазами — цѣлая роца, изъ которой на манеръ каланчи выглядываетъ мой солидный носъ. Хорошъ, нечего сказать!

— Впрочемъ, Nicolas, вы возьмете своими душевными качествами, — вздыхаетъ Наденькина мама, какъ бы подкрѣпляя какую-то свою тайную мысль.

А Наденька страдаетъ за меня, но въ то же время сознание, что противъ сидитъ влюбленный въ нее человѣкъ, доставляетъ ей, повидимому, величайшее наслаждение. Покончивъ съ мужчинами, дѣвицы говорятъ о любви. Послѣ длиннаго разговора о любви, одна изъ дѣвицъ встаетъ и уходитъ. Оставшіяся начинаютъ перемывать косточки ушедшей. Всѣ находятъ, что она глуха, несносна, безобразна, что у нея лопатка не на мѣстѣ.

Но вот, слава Богу, идетъ, наконецъ, горничная, посланная моею маман, и зоветъ меня обѣдать. Теперь я могу оставить неприятное общество и идти продолжать свою диссертацию. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина маман, сама Варенька и разноцвѣтныя дѣвочки окружаютъ меня и заявляютъ, что я не имѣю никакого права уходить, такъ какъ далъ имъ вчера честное слово обѣдать съ ними, а послѣ обѣда идти въ лѣсъ за грибами. Кланяюсь и сажусь... Въ душѣ моей кипитъ ненависть, я чувствую, что еще минута и — я за себя не ручаюсь, произойдетъ взрывъ, но деликатность и боязнь нарушить хорошей тоной застаивають меня повиноваться дамамъ. И я повинуюсь.

Садимся обѣдать. Раненый офицеръ, у котораго отъ раны въ високѣ образовалось сведеніе челюстей, ѣсть съ такимъ видомъ, какъ будто бы онъ занузданъ и имѣеть во рту удила. Я катаю шарикъ изъ хлѣба, думаю о собачьемъ налогѣ и, зная свой вспыльчивый характеръ, стараюсь молчать. Наденька глядитъ на меня съ состраданіемъ. Окрошка, языкъ съ горошкомъ, жареная курица и компотъ. Аппетита нѣтъ, но я изъ деликатности ѣмъ. Послѣ обѣда, когда я одинъ стою на террасѣ и курю, ко мнѣ подходитъ Машенькина маман, сжимаетъ мои руки и говоритъ задыхаясь:

— Но вы не отчаявайтесь, Nicolas... Это такое сердце... такое сердце!

Идемъ въ лѣсъ по грибы... Варенька виснеть на моей рукѣ и присасывается къ боку. Страдаю невыносимо, но терплю.

Входимъ въ лѣсъ.

— Послушайте, m-r Nicolas, — вздыхаетъ Наденька: — отчего вы такъ грустны? Отчего вы молчите?

Странная дѣвушка: о чемъ же я могу говорить съ ней? Чтò у насъ общаго?

— Ну, скажите что-нибудь... — проситъ она.

Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ея пониманію. Подумавъ, говорю:

— Лѣсонстребленіе приноситъ громадный вредъ Россіи...

— Nicolas! — вздыхаетъ Варенька, и носъ ея краснѣеть. — Nicolas, я вижу, вы избѣгаете откровеннаго разговора... Вы какъ будто желаете казнить своимъ молчаніемъ... Вамъ не отвѣчаютъ на ваше чувство и вы хотите страдать

молча, въ одиночку... это ужасно, Nicolas! — восклицаетъ она, порывисто хватая меня за руку, и я вижу, какъ ея носъ начинаетъ цухнуть.—Что бы вы сказали, если бы та дѣвушка, которую вы любите, предложила вамъ вѣчную дружбу?

Я бормочу что-то несвязное, потому что рѣшительно не знаю, что сказать ей... Помилуйте: во-первыхъ, никакой дѣвушки я не люблю и, во-вторыхъ, для чего бы мнѣ могла понадобиться вѣчная дружба? Въ-третьихъ, я очень вспыльчивъ. Машенька, или Варенька, закрываетъ лицо руками и говоритъ вполголоса, какъ бы про себя:

— Онъ молчитъ... Очевидно, онъ хочетъ жертвы съ моей стороны. Не могу же я любить его, если я все еще люблю другого! Впрочемъ... я подумаю... Хорошо, я подумаю... Я соберу всѣ силы моей души и, быть-можетъ, цѣною своего счастья спасу этого человѣка отъ страданій!

Ничего не понимаю. Какая-то кабалистика. Идемъ дальше и собираемъ грибы. Все время молчимъ. На лицѣ у Наденьки выраженіе душевной борьбы. Слышенъ лай собакъ: это мнѣ напоминаетъ о моей диссертациі, и я громко вздыхаю. Сквозь стволы деревьевъ я вижу раненаго офицера. Бѣдняга мучительно хромаетъ направо и налево: справа у него раненое бедро, слѣва виситъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ. Лицо выражаетъ покорность судьбѣ.

Изъ лѣса идемъ обратно на дачу пить чай, затѣмъ играемъ въ крокетъ и слушаемъ, какъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ поетъ романсъ: «Нѣтъ, не любишь ты! Нѣтъ! Нѣтъ!..» При словѣ «нѣтъ» она кривитъ ротъ до самаго уха.

— Charmant!—стонутъ остальные дѣвицы.—Charmant!

Наступаетъ вечеръ. Изъ-за кустовъ выплзаетъ отвратительная луна. Въ воздухѣ тишина и непріятно пахнетъ свѣжымъ сѣномъ. Беру шляпу и хочу уходить.

— Мнѣ нужно вамъ сообщить кое-что, — значительно шепчетъ мнѣ Машенька.—Не уходите.

Предчувствую что-то недоброе, но изъ деликатности остаюсь. Машенька беретъ меня подъ руку и ведетъ куда-то по аллеѣ. Теперь ужъ вся фигура ея выражаетъ борьбу. Она блѣдна, тяжело дышитъ и, кажется, намѣрена оторвать у меня правую руку. Что съ ней?

— Послушайте... — бормочетъ она. — Нѣтъ, не могу... Нѣтъ...

Она хочет что-то сказать, но колеблется. Но вот по лицу ее я вижу, что она рѣшилась. Сверкнувъ глазами, съ опухшимъ носомъ, она хватаетъ меня за руку и говоритъ быстро:

— Nicolas, я ваша! Любить васъ не могу, но общаю вамъ вѣрность!

Затѣмъ она прижимается къ моей груди и вдругъ откакиваетъ.

— Кто-то идетъ...—шепчетъ она.—Прощай... Завтра въ 11 часовъ буду въ бесѣдкѣ... Прощай!

И она исчезаетъ. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебіеніе, я иду къ себѣ домой. Меня ждетъ «Прошедшее и будущее собачьяго налога», но работать я уже не могу. Я взбѣшенъ. Можно даже сказать, я ужасенъ. Чортъ возьми, я не позволю обращаться со мной, какъ съ мальчишкой! Я вспыльчивъ и шутить со мной опасно! Когда входитъ ко мнѣ горничная звать меня къ ужину, я кричу ей: «Подите вонъ!» Такая вспыльчивость общается мало хорошаго.

На другой день утромъ. Погода дачная, т. е. температура ниже нуля, рѣзкій, холодный вѣтеръ, дождь, грязь и запахъ нафталина, потому что моя мамаша повиныкала изъ сундука свои салоны. Чертовское утро. Это какъ разъ 7-е августа 1887 года, когда было затменіе солнца. Надо вамъ замѣтить, что во время затменія каждый изъ насъ можетъ принести громадную пользу, не будучи астрономомъ. Такъ, каждый изъ насъ можетъ: 1) опредѣлить діаметръ солнца и луны, 2) нарисовать корону солнца, 3) измѣрить температуру, 4) наблюдать въ моментъ затменія животныхъ и растенія, 5) записать собственные впечатлѣнія и т. д. Это такъ важно, что я пока оставилъ въ сторонѣ «Прошедшее и будущее собачьяго налога» и рѣшилъ наблюдать затменіе. Всѣ мы встали очень рано. Весь предстоящій трудъ я подѣлилъ такъ: я опредѣлю діаметръ солнца и луны, раненый офицеръ нарисуетъ корону, все же остальное возмуть на себя Машенька и разноцвѣтныя дѣвицы. Вотъ всѣ мы собрались и ждемъ.

— Отчего бываетъ затменіе? — спрашиваетъ Машенька. Я отвѣчаю:

— Солнечныя затменія происходятъ въ томъ случаѣ,

когда луна, обращаясь въ плоскости эклиптики, прѣмѣщается на линію, соединяющей центры солнца и земли?

— А что значитъ эклиптика?

Я объясняю. Машенька, внимательно выслушавъ, спрашиваетъ:

— Можно ли сквозь копченое стекло увидѣть линію, соединяющую центры солнца и земли?

Я отвѣчаю ей, что эта линія проводится умственно.

— Если она умственная, — недоумѣваетъ Варенька: — то какъ же на ней можетъ помѣститься луна?

Не отвѣчаю. Я чувствую, какъ отъ этого наивнаго вопроса начинаетъ увеличиваться моя печень.

— Все это вздоръ, — говоритъ Варенькина мама. — Нельзя знать того, что будетъ, и къ тому же вы ни разу не были на небѣ, почему же вы знаете, что будетъ съ луной и солнцемъ? Все это фантазіи.

Но вотъ черное пятно надвигается на солнце. Всеобщее смятеніе. Коровы, овцы и лошади, задравъ хвосты и ревя, въ страхѣ носились по полю. Собаки выли. Клопы, воображивъ, что настала ночь, вылѣзли изъ шелей и начали кусать тѣхъ, кто спалъ. Дьяконъ, который въ это время везъ къ себѣ изъ огорода огурцы, ужаснувшись, выскочилъ изъ телѣги и спрятался подъ мостъ, а его лошадь вѣхала съ телѣгой въ чужой дворъ, гдѣ огурцы были съѣдены свиньями. Акцизный, ночевавшій не дома, а у одной дачницы, выскочилъ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и, вѣбжавъ въ толпу, закричалъ дикимъ голосомъ:

— Спасайся, кто можетъ!

Многія дачницы, даже молодья и красивья, разбуженныя шумомъ, выскочили на улицу, не надѣвъ башмаковъ. Произшло еще много такого, чего я не рѣшусь разсказать.

— Ахъ, какъ страшно! — визжать разноцвѣтныя дѣвцы. — Ахъ! Это ужасно!

— Mesdames, наблюдайте! — кричу я имъ. — Время дорого!

А самъ я тороплюсь, измѣряю діаметръ... Вспоминаю о коронѣ и ищу глазами раненаго офицера. Онъ стоитъ и ничего не дѣлаетъ.

— Что же вы? — кричу я. — А корона?

Онъ пожимаетъ плечами и безпомощно указываетъ мнѣ глазами на свои руки. У бѣдняги на обѣ руки нависли разноцвѣтныя дѣвцы, жмутся къ нему отъ страха и мѣ-

шаютъ работать. Беру карандашъ и записываю время съ секундами. Это важно. Записываю географическое положеніе наблюдательнаго пункта. Это тоже важно. Хочу опредѣлить діаметръ, но въ это время Машенька беретъ меня за руку и говоритъ:

— Не забудьте же, сегодня въ одиннадцатъ часовъ!

Я отнимаю свою руку и, дорожа каждой секундой, хочу продолжать наблюденія, но Варенька судорожно беретъ меня подъ руку и прижимается къ моему боку. Карандашъ, стекла, чертежи — все это валится на траву. Чортъ знаетъ что! Пора же, наконецъ, понять этой дѣвушкѣ, что я вспыльчивъ, что я, вспыливъ, становлюсь бѣшенымъ и тогда не могу за себя ручаться.

Хочу я продолжать, но затменіе уже кончилось!

— Взгляните на меня! — шепчетъ она нѣжно.

О, это уже верхъ издѣвательства! Согласитесь, что такая игра человѣческимъ терпѣніемъ можетъ кончиться только худомъ. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное! Я никому не позволю шутить, издѣваться надо мною и, чортъ подери, когда я взбѣшенъ, никому не советую близко подходить ко мнѣ, чортъ возьми советъ! Я готовъ на все!

Одна изъ дѣвицъ, вѣроятно, замѣтивъ по моему лицу, что я взбѣшенъ, говоритъ, очевидно, съ той цѣлью, чтобы успокоить меня:

— А я, Николаѣй Андреевичъ, исполнила ваше порученіе. Я наблюдала млекопитающихъ. Я видѣла, какъ передъ затменіемъ сѣрая собака погналась за кошкой и потомъ долго виляла хвостомъ.

Такъ изъ затменія ничего не вышло. Иду домой. Благодаря дождю не выхожу на балкончикъ работать. Раненый офицеръ рискнулъ выйти на свой балконъ и даже написалъ: «Я родился въ...», и теперь я вижу въ окно, какъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ тащитъ его къ себѣ на дачу. Работать я не могу, потому что все еще взбѣшенъ и чувствую сердцебиеніе. Въ бесѣдку я не иду. Это невѣжливо, но, согласитесь, не могу же я идти по дождю! Въ 12 часовъ получаю письмо отъ Машеньки; въ письмѣ упрёки, просьба придти въ бесѣдку и обращеніе на «ты»... Въ часъ получаю другое письмо, въ два третье... Надо идти. Но прежде чѣмъ идти, я долженъ подумать, о чемъ я буду

говорить съ ней. Поступлю, какъ порядочный человѣкъ. Во-первыхъ, я скажу ей, что она напрасно воображаетъ, что я ее люблю. Впрочемъ, такихъ вещей не говорятъ женщинамъ. Сказать женщинѣ: «Я васъ не люблю»—такъ же неделикатно, какъ сказать писателю: «Вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Варенькѣ свой взглядъ на бракъ. Надѣваю теплое пальто, беру зонтикъ и иду къ бесѣдкѣ. Зная свой вспыльчивый характеръ, боюсь, какъ бы не сказать чего-нибудь лишняго. Постараюсь сдерживать себя.

Въ бесѣдкѣ меня ждутъ. Наденька блѣдна и заплакана. Увидѣвъ меня, она радостно вскрикиваетъ, бросается ко мнѣ на шею и говоритъ:

— Наконецъ-то! Ты играешь моимъ терпѣнiемъ. Послушай, я не спала всю ночь... Я все думала. Мнѣ кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то... полюблю тебя...

Я сажусь и начинаю излагать свой взглядъ на бракъ. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности краткимъ, я дѣлаю маленькiй историческiй обзоръ. Говорю о бракѣ индусовъ и египтянъ, затѣмъ перехожу къ позднѣйшимъ временамъ; нѣсколько мыслей изъ Шопенгауэра. Машенька слушаетъ со вниманiемъ, но вдругъ, по странной непослѣдовательности идей, находитъ нужнымъ прервать меня.

— Nicolas, поцѣлуй меня!—говоритъ она.

Я смущенъ и не знаю, что сказать ей. Она повторяетъ свое требованiе. Дѣлать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь къ ея длинному лицу, причемъ оцущаю то же самое, что чувствовалъ въ дѣтствѣ, когда меня заставили однажды поцѣловать на панихидѣ мою умершую бабушку. Не довольствуясь моимъ поцѣлуемъ, Варенька вскакиваетъ и порывисто обнимаетъ меня. Въ это время въ дверяхъ бесѣдки показывается Машенькина татап... Она дѣлаетъ испуганное лицо, говоритъ кому-то «тсс!» и исчезаетъ, какъ Мефистофель въ трюмѣ.

Смущенный и взбѣшенный, я возвращаюсь къ себѣ на дачу. Дома я застаю Варенькину татап, которая со слезами на глазахъ обнимаетъ мою татап, а моя татап плачетъ и говоритъ:

— Я сама этого желала!

Затѣмъ—какъ вамъ это нравится?—Наденькина татап подходит ко мнѣ, обнимаетъ меня и говоритъ:

— Богъ васъ благословить! Ты же смотри, люби ее...
Помни, что для тебя она приноситъ жертву...

И теперь меня женятъ. Въ то время, какъ я пишу эти строки, надъ моею душой стоятъ шафера и торопятъ меня. Эти люди положительно не знаютъ моего характера! Въдъ я вспыльчивъ и не могу за себя ручаться! Чортъ возьми, вы увидите, что будетъ дальше! Вести подъ вѣнецъ вспыльчиваго, возбѣненнаго челоуѣка — это, по-моему, такъ же не умно, какъ просовывать руку въ клѣтку къ разъяренному тигру. Увидимъ, увидимъ, что будетъ!

Итакъ, я женатъ. Всѣ меня поздравляютъ, и Варенька все жметса ко мнѣ и говоритъ:

— Пойми же, что ты теперь мой, мой! Скажи же, что ты меня любишь! Скажи!

И при этомъ у нея пухнетъ носъ.

Узналъ отъ шаферовъ, что раненый офицеръ ловкимъ манеромъ избѣжалъ Гименя. Онъ представилъ разноцвѣтной дѣвицѣ медицинское свидѣтельство, что, благодаря ранѣ въ високъ, онъ умственно ненормаленъ, а потому по закону не имѣетъ права жениться. Идея! Я тоже могъ бы представить свидѣтельство. Мой дядя пилъ запоемъ, другой дядя былъ очень разсѣянъ (однажды вмѣсто шанки надѣлъ себѣ на голову дамскую муфту), тетка много играла на рояли и при встрѣчѣ съ мужчинами показывала имъ языкъ. Къ тому же еще мой въ высшей степени вспыльчивый характеръ — очень подозрительный симптомъ. Но почему хорошия идеи приходятъ такъ поздно? Почему?

ТССС!...

Иванъ Егоровичъ Краснухинъ, газетный сотрудникъ средней руки, возвращается домой поздно ночью нахмуренный, серьезный и как-то особенно сосредоточенный. Видъ у него такой, точно онъ ждетъ обыска или замышляетъ самоубійство. Пошагавъ по своей комнатѣ, онъ останавливается, взерошиваетъ волосы и говоритъ тономъ Лаэрга, собирающагося мстить за свою сестру:

— Разбить, утомленъ душой, на сердцѣ гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И это называется жизнью?! Отчего еще никто не описалъ того мучительнаго разлада, который происходитъ въ писателѣ, когда онъ грустенъ, но долженъ смѣшнить толпу, или когда веселъ, а долженъ по заказу лить слезы? Я долженъ быть игривъ, равнодушно-холоденъ, остроуменъ, но представьте, что меня гнететъ тоска или, положимъ, я боленъ, у меня умираетъ ребенокъ, родить жена!

Говорить онъ это, потрясая кулакомъ и вращая глазами... Потомъ онъ идетъ въ спальню и будитъ жену.

— Надя, — говоритъ онъ: — я сажусь писать... Пожалуй-ста, чтобы мнѣ никто не мѣшалъ. Нельзя писать, если ревутъ дѣти, храпятъ кухарки... Распорядись также, чтобы былъ чай и... бивнтексъ, что ли... Ты знаешь, я безъ чая не могу писать... Чай—это единственное, что подкрѣпляетъ меня въ работѣ.

Вернувшись къ себѣ въ комнату, онъ снимаетъ сюртукъ, жилетку и сапоги. Разоблачается онъ медленно, затѣмъ, придавъ своему лицу выраженіе оскорбленной невинности, садится за письменный столъ.

На столѣ ничего случайнаго, будничнаго, но все, каждая самомалѣйшая бездѣлушка, носить на себѣ характеръ обдуманности и строгой программы. Вѣстники и карточки великихъ писателей, куча черновыхъ рукописей, томъ Бѣлинскаго съ загнутой страницей, затылочная кость вмѣсто пенальницы, газетный листъ, сложенный небрежно, но такъ, чтобы видно было мѣсто, очерченное синимъ карандашомъ, съ крупной надписью на поляхъ: «подло!» Тутъ же съ десятокъ свѣже-очиненныхъ карандашей и ручекъ съ новыми перьями, очевидно положенныхъ для того, чтобы вѣщій причины и случайности, въ родѣ порчи пера, не могли прерывать ни на секунду свободнаго, творческаго полета...

Краснухинъ откидывается на спинку кресла и, закрывъ глаза, погружается въ обдумываніе темы. Ему слышно, какъ жена шлепаетъ туфлями и колотъ лучину для самовара. Она еще не совсѣмъ проснулась, это видно изъ того, что самоварная крышка и ножъ то и дѣло валяются изъ рукъ. Скоро доносится шипѣніе самовара и поджариваемаго мяса. Жена не перестаетъ колотъ лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдругъ Краснухинъ вздрагиваетъ, открываетъ испуганно глаза и начинаетъ нюхать воздухъ.

— Боже мой, угарь! — стонетъ онъ, страдальчески морща лицо. — Угарь! Эта несносная женщина задалась цѣлью отравить меня! Ну, скажите же, Бога ради, могу ли я писать при такой обстановкѣ?

Онъ бѣжитъ въ кухню и раздражается тамъ драматическимъ воплемъ. Когда, немного погодя, жена, осторожно ступая на цыпочкахъ, приноситъ ему стаканъ чаю, онъ попрежнему сидитъ въ креслѣ, съ закрытыми глазами, и погруженъ въ свою тему. Онъ не шевелится, слегка барабанитъ по лбу двумя пальцами и дѣлаетъ видъ, что не слышитъ присутствія жены... На лицѣ его попрежнему выраженіе оскорбленной невинности.

Какъ дѣвочка, которой подарили дорогой вѣеръ, онъ, прежде чѣмъ написать заглавіе, долго кокетничаетъ передъ

самимъ собой, рисуется, ломается... Онъ сжимаетъ себѣ виски, то корчится и поджимаетъ подъ кресло ноги, точно отъ боли, то томно жмурится, какъ котъ на диванѣ... Наконецъ, не безъ колебанія, протягиваетъ онъ къ чернильницѣ руку и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто подписываетъ смертный приговоръ, дѣлаетъ заглавіе...

— Мама, дай воды!—слышитъ онъ голосъ сына.

— Тссс!—говоритъ мать.—Папа пишетъ! Тссс...

Папа пишетъ быстро-быстро, безъ помарокъ и остановокъ, едва успѣвая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитыхъ писателей глядятъ на его быстро бѣгающее перо, не шевелятся и, кажется, думаютъ: «Эка, братъ, какъ ты насобачился!»

— Тссс!—скрипитъ перо.

— Тссс!—издаютъ писатели, когда вздрагиваютъ вмѣстѣ со столомъ отъ толчка колѣномъ.

Вдругъ Краснухинъ выпрямляется, кладетъ перо и прислушивается... Онъ слышитъ ровный, монотонный шопотъ... Это въ сосѣдней комнатѣ жилецъ, Ѳома Николаевичъ, молится Богу.

— Послушайте!—кричитъ Краснухинъ.—Не угодно ли вамъ потише молиться? Вы мѣшаете мнѣ писать!

— Виновать-съ...—робко отвѣчаетъ Ѳома Николаевичъ.

— Тссс!

Исписавъ пять страничекъ, Краснухинъ потягивается и глядитъ на часы.

— Боже, уже три часа!—стонетъ онъ.—Люди спятъ, а я... одинъ я долженъ работать!

Разбитый, утомленный, склонивъ голову на бокъ, онъ идетъ въ спальню, будитъ жену и говоритъ томнымъ голосомъ:

— Надя, дай мнѣ еще чаю! Я... ослабѣлъ!

Пишетъ онъ до четырехъ часовъ, и охотно писалъ бы до шести, если бы не изсякла тема. Кокетничанье и лomanье передъ самимъ собой, передъ неодушевленными предметами, вдали отъ нескромнаго, наблюдающаго ока, деспотизмъ и тиранія надъ маленькимъ муравейникомъ, брошеннымъ судьбою подъ его власть, составляютъ соль и медъ его существованія. И какъ этотъ деспотъ здѣсь, дома, не похожъ на того маленькаго, приниженнаго, безсловеснаго,

бездарнаго человѣчка. котораго мы привыкли видѣть въ редакціяхъ!

— Я такъ утомленъ, что едва ли усну...—говорить онъ, ложась спать. — Наша работа, эта проклятая, неблагодарная, каторжная работа, утомляетъ не такъ тѣло, какъ душу... Мнѣ бы бромистаго калия принять... Охъ, видитъ Богъ, если бъ не семья, бросилъ бы я эту работу... Писать по заказу! Это ужасно!

Спитъ онъ до двѣнадцати, или до часу дня, спитъ крѣпко и здорово... Ахъ, какъ бы еще онъ спалъ, какіе бы видѣлъ сны, какъ бы развернулся, если бы сталъ извѣстнымъ писателемъ, редакторомъ, или хотя бы издателемъ!

— Онъ всю ночь писалъ!—шепчетъ жена, дѣлая испуганное лицо.—Тссс!

Никто не смѣетъ ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сонъ—святыня, за оскорбленіе которой дорого пошлатися виновный!

— Тссс!—носится по квартирѣ.—Тссс!

МЕСТЬ.

Левъ Саввичъ Турмановъ, дюжинный обыватель, имѣющій капиталецъ, молодую жену и солидную плѣшь, какъ-то игралъ на именинахъ у пріятеля въ винтъ. Послѣ одного хорошаго минуса, когда его въ потъ ударило, онъ вдругъ вспомнилъ, что давно не пилъ водки. Поднявшись, онъ на пыпочкахъ, солидно покачиваясь, пробрался между столовъ, прошелъ черезъ гостиную, гдѣ танцовала молодежь (тутъ онъ снисходительно улыбнулся и отечески похлопалъ по плечу молодого, жидкаго аптекаря), затѣмъ юркнулъ въ маленькую дверь, которая вела въ буфетную. Тутъ, на кругломъ столѣ, стояли бутылки, графины съ водкой... Около нихъ, среди другой закуски, зеленѣя лукомъ и петрушкой, лежала на тарелкѣ наполовину уже съѣденная селедка. Левъ Саввичъ налилъ себѣ рюмку, пошевелилъ въ воздухѣ пальцами, какъ бы собираясь говорить рѣчь, выпилъ и сдѣлалъ страдальческое лицо, потомъ ткнулъ вилкой въ селедку и... Но тутъ за стѣной послышались голоса.

— Пожалуй, пожалуй... — бойко говорилъ женскій голосъ. — Только когда это будетъ?

«Моя жена, — узналъ Левъ Саввичъ. — Съ кѣмъ это она?»

— Когда хочешь, мой другъ... — отвѣчалъ за стѣной густой, сочный басъ. — Сегодня не совсѣмъ удобно, завтра я цѣлешенькій день занятъ...

«Это Дегтяревъ! — узналъ Турмановъ въ басѣ одного изъ своихъ пріятелей. — И ты, Брутъ, туда же! Неужели и его ужъ подцѣпила? Экая ненасытная, неугомонная баба! Для не можетъ дышать безъ романа!»

— Да, завтра я занятъ, — продолжалъ басъ. — Если хочешь, напиши мнѣ завтра что-нибудь... Буду радъ и счастливъ... Только намъ слѣдовало бы упорядочить нашу

корреспонденцію. Нужно придумать какой-нибудь фокусъ. Почтой посылать не совсѣмъ удобно. Если я тебѣ напишу, то твой индюкъ можетъ перехватить письмо у почтальона; если ты мнѣ напишешь, то моя половина получитъ безъ меня и навѣрное распечатаетъ.

— Какъ же быть?

— Нужно фокусъ какой-нибудь придумать. Черезъ прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой Собакевичъ навѣрное держитъ въ ежовыхъ горничную и лакея... Что, онъ въ карты играетъ?

— Да. Вѣчно, дуралей, проигрываетъ!

— Значить, въ любви ему везетъ! — засмѣялся Дегтяревъ.— Вотъ, мамочка, какой фортель я придумалъ... Завтра, ровно въ шесть часовъ вечера, я, возвращаясь изъ конторы, буду проходить черезъ городской садъ, гдѣ мнѣ нужно повидаться со зрителемъ. Такъ вотъ ты, душа моя, постарайся непременно къ шести часамъ, не позже, положить записочку въ ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоитъ налѣво отъ виноградной бесѣдки...

— Знаю, знаю...

— Это выйдетъ и поэтично, и таинственно, и ново... Не узнаешь ни твой пузанъ, ни моя благовѣрная. Поняла?

Левъ Саввичъ выпилъ еще одну рюмку и отправился къ игорному столу. Открытіе, которое онъ только-что сдѣлалъ, не поразило его, не удивило и нимало не возмутило. Время, когда онъ возмущался, устраивалъ сцены, бранился и даже дрался, давно уже прошло; онъ махнулъ рукой и теперь смотрѣлъ на романы своей вѣтренной супруги сквозь пальцы. Но ему все-таки было неприятно. Такія выраженія, какъ индюкъ, Собакевичъ, пузанъ и пр., покоробили его самолюбіе.

«Какая же, однако, каналья этотъ Дегтяревъ! — думалъ онъ, записывая минусы.— Когда встрѣчается на улицѣ, такимъ милымъ другомъ прикидывается, скалить зубы и по животу гладить, а теперь, поди-ка, какія пули отливаетъ! Въ лицо другомъ величаетъ, а за глаза я у него и индюкъ, и пузанъ!...»

Чѣмъ больше онъ погружался въ свои противные минусы, тѣмъ тяжелѣе становилось чувство обиды...

«Молокосось... — думалъ онъ, сердито ломая мѣлокъ. — Мальчишка... Не хочется только связываться, а то я показалъ бы тебѣ Собакевича!»

За ужиномъ онъ не могъ равнодушно видѣть физиономію Дегтярева, а тотъ, какъ нарочно, неотвязчиво приставалъ къ нему съ вопросами: выигралъ ли онъ? отчего онъ такъ грустенъ? и проч. И даже имѣлъ нахальство, на правахъ добраго знакомаго, громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровьѣ мужа. А супруга, какъ ни въ чемъ не бывало, глядѣла на мужа масляными глазками, весело смѣялась, невинно болтала, такъ что самъ чортъ не заподозрилъ бы ее въ невѣрности.

Возвратясь домой, Левъ Саввичъ чувствовалъ себя злымъ и неудовлетвореннымъ, точно онъ вмѣсто телятины съѣлъ за ужиномъ старую кашу. Быть-можетъ, онъ пересилилъ бы себя и забылся, но болтовня супруги и ея улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана...

«По щекамъ бы его, подлеца, отхлопать...—думалъ онъ.—Оборвать бы его публично».

И онъ думалъ, что хорошо бы теперь побить Дегтярева, подстрѣлить его на дуэли, какъ воробья... спихнуть съ должности, или положить въ мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее—дохлую крысу, напимѣрь... Недурно бы женино письмо заранѣе выкрасть изъ вазы, а вмѣсто него положить какіе-нибудь скабрзные стишки съ подписью «твоя Акулька», или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Долго Турмановъ ходилъ по спальной и услаждалъ себя подобными мечтами. Вдругъ онъ остановился и хлопнулъ себя по лбу.

— Нашель, bravo!—воскликнулъ онъ и даже просіялъ отъ удовольствія.—Это выйдетъ отлично! О-отлично!

Когда уснула его супруга, онъ съѣлъ за столъ и послѣ долгаго раздумья, коверкая свой почеркъ и избобрѣтая грамматическія ошибки, написалъ слѣдующее: «Купцу Дулинову. Милостивый Государь! Если къ шести часамъ вечера сиводня 12-го сентября въ мраморную вазу, что находица въ городскомъ саду налѣво отъ виноградной беседки, не будить положено вами двѣсти рублей, то вы будете убиты и ваша галантѣрейная лавка взлетитъ на воздухъ». Написавъ такое письмо. Левъ Саввичъ подскочилъ отъ восторга.

— Каково придумано, а?—бормоталъ онъ, потирая руки.—Шикарно! Лучшей мести самъ сатана не придумаетъ! Естественно, купчина струситъ и сейчасъ же донесетъ полиціи, а полиція засядетъ къ шести часамъ въ кусты—и цапъ-

парапъ его, голубчика, когда онъ за письмомъ полѣзеть!.. То-то струситъ! Пока дѣло выяснится, такъ усѣбеть, каналья, и натерпѣтся, и насидѣтся... Bravo!

Левъ Саввичъ прилѣпилъ марку къ письму и самъ снесъ его въ почтовый ящикъ. Услуль онъ съ блаженнѣйшей улыбкой и спалъ такъ сладко, какъ давно уже не спалъ. Проснувшись утромъ и вспомнивши свою выдумку, онъ весело замурлыкалъ и даже потрогалъ невѣрную жену за подбородочекъ. Отправляясь на службу и потомъ сидя въ канцеляріи, онъ все время улыбался и воображалъ себѣ ужасъ Дегтярева, когда тотъ попадетъ въ западню...

Въ шестомъ часу онъ не выдержалъ и побѣжалъ въ городской садъ, чтобы воочию полюбоваться отчаяннымъ положеніемъ врага.

«Ага!»—подумалъ онъ, встрѣтивъ городского.

Дойдя до виноградной бесѣдки, онъ сѣлъ подъ кустъ и, устремивъ жадные взоры на вазу, принялся ждать. Петербургіе его не имѣло предѣловъ.

Ровно въ шесть часовъ показался Дегтяревъ. Молодой человекъ былъ, повидимому, въ отличнѣйшемъ расположеніи духа. Цилиндръ его ухарски сидѣлъ на затылкѣ и изъ-за распахнувагося пальто вмѣстѣ съ жилеткой, казалось, выглядывала сама душа. Онъ насвистывалъ и курилъ сигару...

«Вотъ сейчасъ узнаешь индюка да Собакевича!—злорадствовала Турмановъ.—Погоди!»

Дегтяревъ подошелъ къ вазѣ и лѣниво сунулъ въ нее руку... Левъ Саввичъ приподнялся и впилился въ него глазами... Молодой человекъ вытащилъ изъ вазы небольшой пакетъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и пожалъ плечами, потомъ нерѣшительно распечаталъ, опять пожалъ плечами и изобразилъ на лицѣ своемъ крайнее недоумѣніе; въ пакетѣ были двѣ радужныя бумажки!

Долго осматривалъ Дегтяревъ эти бумажки. Въ концѣ концовъ, не переставая пожимать плечами, онъ сунулъ ихъ въ карманъ и произнесъ:—«Merci!»

Несчастный Левъ Саввичъ слышалъ это «merci». Цѣлый вечеръ потомъ стоялъ онъ противъ лавки Дулинова, грозился на вывѣску кудакомъ и бормоталъ въ негодованіи:

—Трррусь! Купчихка! Презрѣнный Китъ Китычъ! Трррусь! Заяць толстопузый!..

ДЛИННЫЙ ЯЗЫКЪ.

Наталья Михайловна, молодая дамочка, прїѣхавшая утромъ изъ Ялты, обѣдала и, неугомонно треща языкомъ, рассказывала мужу о томъ, какія прелести въ Крыму. Мужъ, обрадованный, глядѣлъ съ умиленіемъ на ея восторженное лицо, слушалъ и изрѣдка задавалъ вопросы...

— Но, говорятъ, жизнь тамъ необычайно дорога?—спросилъ онъ между прочимъ.

— Какъ тебѣ сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, палочка. Не такъ страшень чортъ, какъ его рисуютъ. Я, напримѣръ, съ Юліей Петровной имѣла очень удобный и приличный номеръ за двадцать рублей въ сутки. Все, дружочекъ мой, зависитъ отъ умѣнья жить. Конечно, если ты захочешь поѣхать куда-нибудь въ горы... напримѣръ, на Ай-Петри... возьмешь лошадь, проводника,—ну, тогда, конечно, дорого. Ужасъ, какъ дорого! Но, Васичка, какія тамъ го-оры! Представь ты себѣ высокія-высокія горы, на тысячу разъ выше, чѣмъ церковь... Наверху туманъ, туманъ, туманъ... Внизу громаднѣйшіе камни, камни, камни... И пивіи... Ахъ, вспомнить не могу!

— Кстати... безъ тебя тутъ я въ какомъ-то журналѣ читала про тамошнихъ проводниковъ-татаръ... Такія мерзости! Что, это въ самомъ дѣлѣ какіе-нибудь особенные люди?

Наталья Михайловна сдѣлала презрительную гримаску и мотнула головой.

— Обыкновенные татары, ничего особеннаго...—сказала она.—Впрочемъ, я видѣла ихъ издалека, мелькомъ... Указывали мнѣ на нихъ, но я не обратила вниманія. Всегда,

папочка, я чувствовала предубѣжденіе ко всѣмъ этимъ черкесамъ, грекамъ... маврамъ!..

— Говорятъ, донъ-жуаны страшные.

— Можетъ-быть! Бываютъ мерзавки, которыя...

Наталья Михайловна вдругъ вскочила, точно вспомнила что-то страшное, полминуты глядѣла на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово:

— Васичка, я тебѣ скажу, какія есть без-прав-ственны-я! Ахъ, какія безирравственныя! Не то чтобы, знаешь, простыя, или средняго круга, а аристократки, эти надутыя бои-тонни! Просто ужасъ, глазамъ своимъ я не вѣрила! Умру и не забуду! Ну, можно ли забыгься до такой степени, чтобы... ахъ, Васичка, я даже и говорить не хочу! Взять хотя бы мою спутницу Юлію Петровицу... Такой хорошій мужъ, двое дѣтей... принадлежитъ къ порядочному кругу, корчитъ всегда изъ себя святую и—вдругъ, можешь себѣ представить... Только, папочка, это, конечно, *entre nous*... Даешь честное слово, что никому не скажешь?

— Ну, вотъ еще выдумала! Разумѣется, не скажу.

— Честное слово? Смотри же! Я тебѣ вѣрю...

Дамочка положила вилку, придала своему лицу таинственное выраженіе и зашептала:

— Представь ты себѣ такую вещь... Поѣхала эта Юлія Петровна въ горы... Была отличная погода! Впередѣ ѣдетъ она со своимъ проводникомъ, немножко позади—я. Отѣхали мы версты три-четыре, вдругъ, понимаешь ты, Васичка, Юлія вскрикиваетъ и хватается себя за грудь. Ея татаринъ хватается ее за талію, иначе бы она съ сѣдла свалилась... Я со своимъ проводникомъ подѣвзаю къ ней... Что такое? Въ чемъ ѣхать? «Охъ, кричить, умираю! Дурно! Не могу дальше ѣхать!» Представь мой испуг! Такъ поѣдемте, говорю, назадъ!—«Нѣтъ, говорить, *Natalie*, не могу я ѣхать назадъ! Если я сѣлаю еще хоть одинъ шагъ, то умру отъ боли! У меня спазмы!» И просить, умолять, ради Бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назадъ въ городъ и привезли ей бестужевскихъ капель, которыя ей помогаютъ.

— Постой... Я тебя не совсѣмъ понимаю...—пробормоталъ мужъ, почесывая лобъ.—Раньше ты говорила, что видѣла этихъ татаръ только издалека, а теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь.

— Ну, ты опять придираешься къ слову!—поморщилась дамочка, нимало не смущаясь.—Терпѣть не могу подозрительности! Терпѣть не могу! Глупо и глупо!

— Я не придираюсь, но... зачѣмъ говорить неправду? Каталась съ татарами, ну, такъ тому и быть, Богъ съ тобой, но... зачѣмъ вилать?

— Гм!.. вотъ странный! — возмутилась дамочка. — Ревнуетъ къ Сулейману! Воображаю, какъ это ты поѣхалъ бы въ горы безъ проводника! Воображаю! Если не знаешь тамошней жизни, не понимаешь, то лучше молчи. Молчи и молчи! Безъ проводника тамъ шагу нельзя сдѣлать.

— Еще бы!

— Пожалуйста, безъ этихъ глупыхъ улыбокъ! Я тебѣ не Юлія какая-нибудь... Я ея и не оправдываю, но я... пссс! Я хоть и не корчу изъ себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейманъ не выходилъ изъ границъ... Нѣ-ѣтъ! Маметкуль, бывало, у Юліи все время сидитъ, а у меня какъ только бьетъ одиннадцать часовъ, сейчасъ: «Сулейманъ, маршь! Уходите!» И мой глупый татарка уходитъ. Онъ у меня, палочка, въ ежовыхъ былъ... Какъ только разворчится насчетъ денегъ или чего-нибудь, я сейчасъ: «Ка-акъ? Что-о? Что-о-о?» Такъ у него вся душа въ пятки... Ха-ха-ха... Глаза, понимаешь, Васичка, черные-пречерные, какъ у-уголь, морденка татарская, глупая такая, смѣшная... Я его вотъ какъ держала! Вотъ!

— Воображаю...—промычалъ супругъ, катая шарики изъ хлѣба.

— Глупо, Васичка! Я вѣдь знаю, какія у тебя мысли! Я знаю, что ты думаешь... Но, я тебя увѣряю, онъ у меня даже во время прогулокъ не выходилъ изъ границъ. На-примѣръ, ѣдемъ ли въ горы, или къ водопаду У чан-Су, я ему всегда говорю: «Сулейманъ, ѣхать сзади! Ну!» И всегда онъ ѣхалъ сзади, бѣдняжка... Даже во время... въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ я ему говорила: «А все-таки ты не долженъ забывать, что ты только татаринъ, а я жена статскаго совѣтника!» Ха-ха...

Дамочка захохотала, потомъ быстро оглянулась и, сдѣлавъ испуганное лицо, зашептала:

— Но Юлія! Ахъ, эта Юлія! Я понимаю, Васичка, отчего не пошалить, отчего не отдохнуть отъ пустоты свѣтской жизни? Все это можно... шали, сдѣлай милость, никто

тебя не осудить, но глядѣть на это серьезно, дѣлать сцены... нѣтъ, какъ хочешь, я этого не понимаю! Вообрази, она ревновала! Ну, не глупо ли? Однажды приходитъ къ ней Маметкуль, ея пассія... Дома ея не было... Ну, я зазвала его къ себѣ... начались разговоры, то да съ... они, знаешь, препотѣшныя! Незамѣтно этакъ провели вечеръ... Вдругъ, влетаетъ Юлія... Набрасывается на меня, на Маметкула... дѣлаетъ намъ сцену... фи! Я этого не понимаю, Васичка...

Васичка крикнулъ, нахмурился и заходилъ по комнатѣ.

— Весело вамъ тамъ жилось, нечего сказать! — проворчалъ онъ, брезгливо улыбаясь.

— Ну, какъ это глупо! — обидѣлась Наталья Михайловна. — Я знаю, о чемъ ты думаешь! Всегда у тебя такія гадныя мысли! Не стану же я тебѣ ничего рассказывать. Не стану!

Дамочка надула губки и умолкла.

НЕРВЫ.

Дмитрій Осиповичъ Ваксинъ, архитекторъ, воротился изъ города къ себѣ на дачу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только-что пережитаго спиритическаго сеанса. Раздѣваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадамъ Ваксина уѣхала къ Троицѣ), Ваксинъ сталъ невольно припоминать все слышанное и видѣнное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечеръ прошелъ въ однихъ только страшныхъ разговорахъ. Какая-то барышня ни съ того, ни съ сего заговорила объ угадываніи мыслей. Съ мыслью незамѣтно перешли къ духамъ, отъ духовъ къ привидѣніямъ, отъ привидѣній къ заживопогребеннымъ... Какой-то господинъ прочелъ страшный рассказъ о мертвецѣ, перевернувшемся въ гробу. Самъ Ваксинъ потребовалъ блюдечко и показалъ барышнямъ, какъ нужно бесѣдовать съ духами. Вызвалъ онъ, между прочимъ, дядю своего Клавдія Миронвича и мысленно спросилъ у него: «Не пора ли мнѣ домъ перевести на имя жены?»—на что дядя отвѣтилъ: «Во благовременіи все хорошо».

«Много таинственнаго и... страшнаго въ природѣ... — размышлялъ Ваксинъ, ложась подъ одѣяло.—Страшны не мертвецы, а эта неизвѣстность»...

Пробило часъ ночи. Ваксинъ повернулся на другой бокъ и выглянулъ изъ-подъ одѣяла на синій огонекъ лампадки. Огонь мелькалъ и еле освѣщалъ кіотъ и большой портретъ дяди Клавдія Миронича, висѣвшій противъ кровати.

«А что, если въ этомъ полумракѣ явится сейчасъ дядя тѣнь? — мелькнуло въ головѣ Ваксина. — Нѣтъ, это невозможно!»

Привидѣнія—предразсудокъ, плодъ умовъ педозрѣлыхъ, но, тѣмъ не менѣе, все-таки Ваксинъ натянулъ на голову одѣяло и плотнѣе закрылъ глаза. Въ воображеніи его промелькнулъ перевернувшійся въ гробу трупъ, заходили образы умершей тещи, одного повѣсившагося товарища, дѣвушки-утопленницы... Ваксинъ сталъ гнать изъ головы мрачныя мысли, но чѣмъ энергичнѣе онъ гналъ, тѣмъ яснѣе становились образы и страшнѣе мысли. Ему стало жутко.

«Чортъ знаетъ что... Боишься, словно маленькій... Глупо!»

«Чикъ... чикъ... чикъ»,—стучали за стѣной часы. Въ сельской церкви на погостѣ завопилъ сторожъ. Звонъ былъ медленный, заунывный, за душу тянущій... По затылку и по спиѣ Ваксина пробѣжали холодныя мурашки. Ему показалось, что надъ его головой кто-то тяжело дышитъ, точно дядя вышелъ изъ рамы и склонился надъ племянникомъ... Ваксину стало невыносимо жутко. Онъ стиснулъ отъ страха зубы и притаилъ дыханіе. Наконецъ, когда въ открытое окно влетѣлъ майскій жукъ и загудѣлъ надъ его постелью, онъ не вынесъ и отчаянно дернулъ за сонетку.

— Деметрій Осипычъ, was wollen Sie?—послышался черезъ минуту за дверью голосъ гувернантки.

— Ахъ, это вы, Розалія Карловна?—обрадовался Ваксинъ.—Зачѣмъ вы беспокоитесь? Гаврила могъ бы...

— Хаврилу вы сами въ городъ отпустили, а Глафира куда-то съ вечера ушла... Никого нѣтъ дома... Was wollen Sie doch?

— Я, матушка, вотъ что хотѣлъ сказать... Тово... Да вы войдите, не стѣсняйтесь! У меня темно...

Въ спальную вошла толстая, краснощекая Розалія Карловна и остановилась въ ожидательной позѣ.

— Садитесь, матушка... Видите ли, въ чемъ дѣло...—«О чемъ бы ее спросить?»—подумалъ Ваксинъ, косясь на портьеру дяди и чувствуя, какъ душа его постепенно входитъ въ покойное состояніе.—Я, собственно говоря, вотъ о чемъ хотѣлъ просить васъ... Когда завтра человѣкъ отправится въ городъ, то не забудьте приказать ему, чтобы онъ... тово... зашелъ гильзъ купить... Да вы садитесь!

— Гильзъ? Хорошо! Was wollen Sie noch?

— Ich will... Ничего я не will, но... Да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю...

— Неприлично дѣвицѣ стоять въ мужчинской комнатѣ... Ви, я вижу, Деметрій Осипычъ, шалюнкѣ... насмѣшкинѣ... Я понимаю... Изъ-за гильзъ шеловѣка не будятъ... Я понимаю...

Розалія Карловна повернулась и вышла. Ваксинѣ, нѣсколько успокоенный бесѣдой съ ней и стыдясь своего малодушія, налянулъ на голову одѣяло и закрылъ глаза. Минуть десять онъ чувствовалъ себя сносно, но потомъ въ его голову полѣзла опять та же чепуха... Онъ плюнулъ, нащупалъ спички и, не открывая глазъ, зажегъ свѣчу. Но и свѣтъ не помогъ. Напуганному воображенію Ваксина казалось, что изъ угла кто-то смотритъ и что у дяди мигаютъ глаза.

— Позвоню ей опять, чортъ бы ее взялъ...—порѣшилъ онъ.—Скажу ей, что я боленъ... Попрошу капель.

Ваксинѣ позвонилъ. Отвѣта не послѣдовало. Онъ позвонилъ еще разъ, и словно въ отвѣтъ на его звонъ, зазвонили на погостѣ. Охваченный страхомъ, весь холодный, онъ выбѣжалъ опретью изъ спальни и, крестясь, браня себя за малодушіе, полетѣлъ босой и въ одномъ нижнемъ къ комнатѣ гувернантки.

— Розалія Карловна!—заговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ, постучавшись въ дверь.—Розалія Карловна! Вы... слыте? Я... тово... боленъ... Капель!

Отвѣта не послѣдовало. Кругомъ царилъ тишина...

— Я васъ прошу... понимаете? Прошу! И къ чему эта... щепетильность, не понимаю, въ особенности, если человѣкъ... боленъ? Какая же вы, право, цирлихъ-манирлихъ. Въ ваши годы...

— Я вашей жена буду говорилъ... Не даетъ покой честный дѣвушкѣ... Когда я жилъ у баронъ Андигъ и баронъ захотѣлъ ко мнѣ приходитъ за спишки, я понимаю... я сразу понимаю, какія спишки, и сказала баронессѣ... Я честный дѣвушкѣ...

— Ахъ, на какого чорта сдалась мнѣ ваша честность? Я боленъ... и капель прошу. Понимаете? Я боленъ!

— Ваша жена честный, хорошій женщиный, и вы должны ее любить. Я! Она благородный! Я не желай быть ея врагъ!

— Дура вы, вотъ и все! Понимаете? Дура!

Ваксинѣ оперся о косякъ, сложилъ руки накрестъ и сталъ ждать, когда пройдетъ его страхъ. Вернуться въ свою

комнату, гдѣ мелькала лампадка и глядѣль изъ рамы дя-дюшка, не хватало силъ, стоять же у дверей губернянтки въ одномъ нижнемъ платьѣ было неудобно во всѣхъ отно-шеніяхъ. Что было дѣлать? Пробыло два часа, а страхъ все еще не проходилъ и не уменьшался. Въ коридорѣ было темно и изъ каждаго угла глядѣло что-то темное. Ваксинъ повернулся лицомъ къ косяку, но тотчасъ же ему показало-сь, что кто-то слегка дернулъ его сзади за сорочку и тронулъ за плечо...

— Чортъ подери... Розалія Карловна!

Отвѣта не последовало. Ваксинъ нерышительно открылъ дверь и заглянулъ въ комнату. Добродѣтельная нѣмка безмятежно спала. Маленькій ночникъ освѣщаль рельефы ея полновѣснаго, дышащаго здоровьемъ тѣла. Ваксинъ вошелъ въ комнату и сѣлъ на плетеный сундукъ, стоявшій около двери. Въ присутствіи спящаго, но живого существа, онъ почувствовалъ себя легче.

«Пусть спать, нѣмчура...—думалъ онъ.—Посижу у нея, а когда разсвѣтетъ, выйду... Теперь рано свѣтаетъ».

Въ ожиданіи разсвѣта, Ваксинъ прикорнулъ на сундукѣ, подложилъ руку подъ голову и задумался.

«Что значить нервы, однако! Человѣкъ развитой, мысля-щій, а между тѣмъ... чортъ знаетъ что! Совѣстно даже»...

Скоро, прислушавшись къ тихому, мѣрному дыханію Ро-заліи Карловны, онъ совсѣмъ успокоился...

Въ шесть часовъ утра жена Ваксина, воротившись отъ Троицы и не найдя мужа въ спальнѣ, отправилась къ губернянткѣ попросить у нея мелочи, чтобы расплатиться съ извозчикомъ. Войдя къ нѣмкѣ, она увидала картину: на кровати, вся раскинувшись отъ жары, спала Розалія Карловна, а на сажень отъ нея, на плетеномъ сундукѣ, свернувшись калачикомъ, похрапывалъ спомъ праведника ея мужъ. Онъ былъ босъ и въ одномъ нижнемъ. Что ска-зала жена и какъ глуха была фізіономія мужа, когда онъ проснулся, предоставляю изображать другимъ. Я же, въ безсиліи, слагаю оружіе.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО.

(Святочный рассказ.)

Я и жена вошли въ гостиную. Тамъ пахло мохомъ и сыростью. Милліоны крысъ и мышей бросились въ стороны, когда мы освѣтили стѣны, не выдавшія свѣта въ продолженіе цѣлаго столѣтія. Когда мы затворили за собой дверь, пахнулъ вѣтеръ и зашевелилъ бумагу, стопами лежавшую въ углахъ. Свѣтъ упалъ на эту бумагу и мы увидѣли старинныя письма и средневѣковыя изображенія. На позеленѣвшихъ отъ времени стѣнахъ висѣли портреты предковъ. Предки глядѣли надменно, сурово, какъ будто хотѣли сказать:

— Выпороть бы тебя, братецъ!

Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвѣчало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвѣчало моимъ предкамъ...

А вѣтеръ вылъ и стоналъ. Въ каминной трубѣ кто-то плакалъ, и въ этомъ плачѣ слышалось отчаяніе. Крупныя капли дождя стучали въ темныя, тусклыя окна, и ихъ стукъ наводилъ тоску.

— О, предки, предки!—сказалъ я, вздыхая значительно.— Если бы я былъ писателемъ, то, глядя на портреты, написалъ бы длинный романъ. Вѣдь каждый изъ этихъ старцевъ былъ когда-то молодъ и у каждаго, или у каждой, былъ романъ... и какой романъ! Взгляни, напримѣръ, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имѣетъ свою въ высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты,—спросилъ я у жены:— видишь ли зеркало, которое виситъ тамъ въ углу?

И я указаль женѣ на большое зеркало въ черной бронзовой оправѣ, висѣвшее въ углу около портрета моей прабабушки.

— Это зеркало обладаеть волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не разставалась съ нимъ до самой смерти. Она смотрѣлась въ него дни и ночи, не переставая, смотрѣлась даже, когда пила и ѣла. Ложась спать, она всякій разъ клала его съ собой въ постель и, умирая, просила положить его съ ней вмѣстѣ въ гробъ. Не исполнили ея желанія только потому, что зеркало не влѣзло въ гробъ.

— Она была кокетка?—спросила жена.

— Положимъ. Но развѣ у нея не было другихъ зеркалъ? Почему она такъ полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И развѣ у нея не было зеркалъ получше? Нѣтъ, тутъ, милая, кроется какая-то ужасная тайна. Не иначе. Преданіе говоритъ, что въ зеркалѣ сидитъ чортъ и что у прабабушки-де была слабость къ чертямъ. Конечно, это вздоръ, но несомнѣнно, что зеркало въ бронзовой оправѣ обладаеть таинственной силой.

Я смахнулъ съ зеркала пыль, поглядѣлъ въ него и захотелъ. Хохоту моему глухо отвѣтило эхо. Зеркало было криво и физиономію мою скривило во всѣ стороны: носъ очутился на лѣвой щекѣ, а подбородокъ раздвоился и полѣлъ въ сторону.

— Странный вкусъ у моей прабабушки!—сказаль я.

Жена нерѣшительно подошла къ зеркалу, тоже взглянула въ него—и тотчасъ же произошло нѣчто ужасное. Она поблѣднѣла, затряслась всѣми членами и вскрикнула. Подсвѣчникъ выпалъ у нея изъ рукъ, покотился по полу и свѣча потухла. Насъ окуталъ мракъ. Тотчасъ же я услышалъ паденіе на полъ чего-то тяжелаго: то упала безъ чувствъ моя жена.

Вѣтеръ застоналъ еще жалобнѣй, забѣгали крысы, въ бумагахъ зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбомъ и зашевелились, когда съ окна сорвалась ставня и полетѣла внизъ. Въ окнѣ показалась луна...

Я схватилъ жену, обнять и вынесъ ее изъ жилища предковъ. Очнулась она только на другой день вечеромъ.

— Зеркало! Дайте мнѣ зеркало!—сказала она, приходя въ себя.—Гдѣ зеркало?

Цѣлую недѣлю потомъ она не пила, не ѣла, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на головѣ, металась, и наконецъ, когда докторъ объявилъ, что она можетъ умереть отъ истощенія и что положеніе ея въ высшей степени опасно, я, пересиливая свой страхъ, опять спустился внизъ и принесъ ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидѣвъ его, она захохотала отъ счастья, потомъ схватила его, поцѣловала и впиалась въ него глазами.

И вотъ прошло уже болѣе десяти лѣтъ, а она все еще глядится въ зеркало и не отрывается ни на одно мгновеніе.

— Неужели это я?—шепчетъ она, и на лицѣ ея вмѣстѣ съ румянцемъ вспыхиваетъ выраженіе блаженства и восторга.—Да, это я! Все жжетъ, кромѣ этого зеркала! Лгутъ люди, жжетъ мужъ! О, если бы я раньше увидѣла себя, если бы я знала, какая я на самомъ дѣлѣ, то не вышла бы за этого человѣка! Онъ не достоинъ меня! У ногъ моихъ должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..

Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядѣлъ въ зеркало и—открылъ страшную тайну. Въ зеркалѣ я увидѣлъ женщину ослѣпительной красоты, какой я не встрѣчалъ никогда въ жизни. Это было чудо природы, гармонія красоты, изящества и любви. Но въ чемъ же дѣло? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена въ зеркалѣ казалась такой прекрасной? Отчего?

А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во всѣ стороны, и отъ такого перемѣщенія его чертъ оно стало случайно прекраснымъ. Минусъ на минусъ дало плюсъ.

И теперь мы оба, я и жена, сидимъ передъ зеркаломъ и, не отрываясь ни на одну минуту, смотримъ въ него: носъ мой лѣзетъ на лѣвую щеку, подбородокъ раздвоился и сдвинулся въ сторону, но лицо жены очаровательно — и сѣшенная, безумная страсть овладѣваетъ мною.

— Ха-ха-ха!—дико хохочу я.

А жена шепчетъ едва слышно:

— Какъ я прекрасна!

НА КЛАДБИЩѢ.

«Гдѣ теперь его князю, ябедничество, крючки, взятки?»

Гамлетъ.

— Господа, вѣтеръ поднялся, и уже начинается темнѣть. Не обратятся ли намъ по добру, по здорову?

Вѣтеръ прогулялся по желтой листьѣ старыхъ березъ, и съ листьевъ посыпался на насъ градъ крупныхъ капель. Одинъ изъ нашихъ поскользнулся на глинистой почвѣ и, чтобы не упасть, ухватился за большой сѣрый крестъ.

— «Титулярный совѣтникъ и кавалеръ Егоръ Грязнурковъ...» — прочелъ онъ. — Я зналъ этого господина... Любилъ жену, носилъ Станислава, ничего не читалъ... Желудокъ его варилъ исправно... Чѣмъ не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но — увы! — случай стерегъ его... Бѣдняга палъ жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получилъ такой ударъ двери въ голову, что схватилъ сотрясеніе мозга (у него былъ мозгъ) и умеръ... А вотъ подъ этимъ памятникомъ лежитъ человѣкъ, съ целенокъ ненавидѣвшій стихи, эпиграммы... Словно въ насѣднику, весь его памятникъ испещренъ стихами... Кто-то идетъ!

Съ нами поровнялся человѣкъ въ поношенномъ пальто и съ бритой, синевато-багровой физиономіей. Подъ мышкой у него былъ полуштофъ, изъ кармана торчалъ свертокъ съ колбасой.

— Гдѣ здѣсь могила актера Мушкина? — спросилъ онъ насъ хриплымъ голосомъ.

Мы повели его къ могилѣ актера Мушкина, умершаго года два назадъ.

— Чиновникъ будете?—спросили мы у него.

— Нѣтъ-съ, актеръ... Нынче актера трудно отличить отъ консистерскаго чиновника. Вы это вѣрно замѣтили... Характерно, хотя для чиновника и не совсѣмъ лестно-съ.

Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевеломъ и утеряла образъ могилы... Маленькій дешевый крестикъ, похилившійся и поросшій зеленымъ, почернѣвшимъ отъ холода мохомъ, смотрѣлъ старчески-уныло и словно хворалъ.

— «забвенному другу Мушкину»...—прочли мы.

Время стерло частицу *не* и исправило человѣческую ложь.

— Актеры и газетчики собрали ему на памятникъ и... пропили, голубчики...—вздохнулъ актеръ, кладя земной поклонъ и касаясь колѣнами и шапкой мокрой земли.

— То-есть, какъ же пропили?

— Очень просто. Собрали деньги, напечатали объ этомъ въ газетахъ и пропили... Это я не для осужденія говорю, а такъ... На здоровье, ангелы! Вамъ на здоровье, а ему память вѣчная.

— Отъ пропивки плохое здоровье, а память вѣчная — одна грусть. Дай Богъ временную память, а насчетъ вѣчной—что ужъ!

— Это вы вѣрно-съ. Извѣстный вѣдь былъ Мушкинъ, вѣнковъ за гробомъ итукъ десять несли, а ужъ забыли! Кому любъ онъ былъ, тѣ его забыли, а кому зло сдѣлалъ, тѣ помнятъ. Я, напримѣръ, его во-вѣки-вѣковъ не забуду, потому, кромѣ зла, ничего отъ него не видѣлъ. Не люблю покойника.

— Какое же онъ вамъ зло сдѣлалъ?

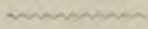
— Зло великое,—вздохнулъ актеръ, и по лицу его разлилось выраженіе горькой обиды. —Злодѣи онъ былъ для меня и разбойникъ, царство ему небесное. На него гляючи и его слушаючи, я въ актеры поступилъ. Выманилъ онъ меня своимъ искусствомъ изъ дома родительскаго, прельстилъ суетой артистической, много общалъ, а далъ слезы и горе... Горька доля актерская! Потерялъ я и молодость, и трезвость, и образъ Божій... За душой ни гроша, каблучки кривые, на штанахъ бахрама и шахматы, лиць словно собаками изгрызень... Въ головѣ свободомыслеіе и неразуміе...

Отнялъ онъ у меня и вѣру, злодѣй мой! Добро бы талантъ былъ, а то такъ, ни за грошъ пропалъ... Холодно, господа почтенные... Не желаете ли? На всѣхъ хватить... Бррр... Выпьемъ за упокой! Хоть и не люблю его, хоть и мертвый онъ, а одинъ онъ у меня на свѣтѣ, одинъ, какъ перстъ. Въ послѣдній разъ съ нимъ вижусь... Доктора сказали, что скоро отъ пьянства помру, такъ вотъ пришелъ проститься. Враговъ прощать надо.

Мы оставили актера бесѣдовать съ мертвымъ Мушкинымъ и пошли далѣе. Заморосилъ мелкій холодный дождь.

При поворотѣ на главную аллею, усыпанную щебнемъ, мы встрѣтили похоронную процессію. Четыре носильщика въ бѣлыхъ коленкорovýchъ поясахъ и въ грязныхъ сапогахъ, облѣпленныхъ листвою, несли коричневый гробъ. Становилось темно, и они спѣшили, спотыкаясь и покачивая носилками...

— Гуляемъ мы здѣсь только два часа, а при насъ уже третьяго несутъ... По домамъ, господа?



САПОГИ.

Фортепiанный настройщикъ Муркинъ, бритый человекъ съ желтымъ лицомъ, табачнымъ носомъ и съ ватой въ ушахъ, вышелъ изъ своего номера въ коридоръ и дребезжащимъ голосомъ прокричалъ:

— Семень! Коридорный!

И глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка, или что онъ только-что у себя въ номерѣ увидѣлъ привидѣнiе.

— Помилуй, Семень!—закричалъ онъ, увидѣвъ бѣгущаго къ нему коридорнаго.—Что же это такое? Я человекъ ревматическiй, болѣзненный, а ты заставляешь меня выходить босикомъ! Отчего ты до сихъ поръ не даешь мнѣ сапогъ? Гдѣ они?

Семень вошелъ въ номеръ Муркина, поглядѣлъ на то мѣсто, гдѣ онъ имѣлъ обыкновенiе ставить вычищенные сапоги, и почесалъ затылокъ: сапогъ не было.

— Гдѣ жъ имъ быть, проклятымъ?—проговорилъ Семень.—Вечеромъ, кажись, чистилъ и тутъ поставилъ... Гм!.. Вчерась, признаться, выпивши былъ... Должно полагать, въ другой номеръ поставилъ. Именно такъ и есть, Афанасiй Егорычъ, въ другой номеръ! Сапогъ-то много, а чортъ ихъ въ пьяномъ видѣ разбереть, ежели себя не помнишь... Должно, къ барынѣ поставилъ, что рядомъ живетъ... къ актрисѣ...

— Изволь я теперь изъ-за тебя идти къ барынѣ безпокоить! Изволь вотъ изъ-за пустяка будить честную женщину!

Вздохая и кашляя, Муркинъ подошелъ къ двери сосѣдняго номера и осторожно постучалъ.

— Кто тамъ? — послышался черезъ минуту женскій голосъ.

— Это я-съ! — началъ жалобнымъ голосомъ Муркинъ, становясь въ позу кавалера, говорящаго съ великосвѣтской дамой. — Извините за безпокойство, сударыня, но я человекъ болѣзненный, ревматическій... Миѣ, сударыня, доктора велѣли ноги въ теплѣ держать, тѣмъ болѣе, что миѣ сейчасъ нужно идти настраивать рояль къ генеральшѣ Шевелицыной. Не могу же я къ ней босикомъ идти!..

— Да вамъ что нужно? Какой рояль?

— Не рояль, сударыня, а въ отношеніи сапогъ! Невѣжда Семень почистилъ мои сапоги и по ошибкѣ поставилъ въ вашъ номеръ. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте миѣ мои сапоги!

Послышалось шуршанье, прыжокъ съ кровати и шлепанье туфель, послѣ чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила къ ногамъ Муркина пару сапогъ. Настройщикъ поблагодарилъ и отправился къ себѣ въ номеръ.

— Странно... — пробормоталъ онъ, надѣвая сапогъ. — Слово какъ будто это не правый сапогъ. Да тутъ два лѣвыхъ сапога! Оба лѣвые! Послушай, Семень, да это не мои сапоги! Мои сапоги съ красными ушками и безъ латокъ, а это какіе-то порванные, безъ ушекъ!

Семень поднялъ сапоги, перевернулъ ихъ нѣсколько разъ передъ своими глазами и нахмурился.

— Это сапоги Павла Александрыча... — проворчалъ онъ, глядя искоса.

Онъ былъ кость на лѣвый глазъ.

— Какого Павла Александрыча?

— Актера... каждый вторникъ сюда ходить... Стало-быть, это онъ вмѣсто своихъ ваши надѣлъ... Я къ ней въ номеръ поставилъ, значить, обѣ пары: его и ваши. Комиссія!

— Такъ поди и перемѣни!

— Здравствуйте! — усмѣхнулся Семень. — Поди и перемѣни... А гдѣ жъ миѣ взять его теперь? Ужъ часъ времени, какъ ушелъ... Поди, ищи вѣтра въ полѣ!

— Гдѣ же онъ живетъ?

— А кто жъ его знаетъ! Приходитъ сюда каждый втор-

никъ, а гдѣ живетъ—намъ неизвѣстно. Придетъ, переночуетъ, и жди до другого вторника...

— Вотъ видишь, свинья, что ты надѣлалъ! Ну, что мнѣ теперь дѣлать! Мнѣ къ генеральшѣ Шевелицыной пора, анаема ты этакая! У меня ноги озябли!

— Перемѣните сапоги недолго. Надѣньте эти сапоги, походите въ нихъ до вечера, а вечеромъ въ театръ... Актера Блистанова тамъ спросите... Ежели въ театръ не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникамъ сюда и ходить...

— Но почему же тутъ два лѣвыхъ сапога?—спросилъ настройщикъ, брезгливо берясь за сапоги.

— Какіе Богъ послалъ, такіе и носить. По бѣдности... Гдѣ актеру взять?.. «Да и сапоги же, говорю, у васъ, Павелъ Александрычъ! Чистая срамота!» А онъ и говоритъ: «Умолкни, говорить, и блѣднѣй! Въ этихъ самыхъ сапогахъ, говоритъ, я графовъ и князей игралъ!» Чудной народъ! Одно слово, артистъ. Будь я губернаторъ, или какой начальникъ, забралъ бы всѣхъ этихъ актеровъ—и въ острогъ.

Безконечно кряхтя и морщась, Муркинъ натянулъ на свои ноги два лѣвыхъ сапога и, прихрамывая, отправился къ генеральшѣ Шевелицыной. Цѣлый день ходилъ онъ по городу, настраивалъ фортепіано и цѣлый день ему казалось, что весь міръ глядитъ на его ноги и видитъ на нихъ сапоги съ латками и съ покривившимися каблуками! Кромѣ нравственныхъ мукъ, ему пришлось еще испытать и физическія: онъ натеръ себѣ мозоль.

Вечеромъ онъ былъ въ театрѣ. Давали «Синюю Бороду». Только передъ послѣднимъ дѣйствіемъ, и то благодаря протекціи знакомаго флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя въ мужскую уборную, онъ засталъ въ ней весь мужской персоналъ. Одни переодѣвались, другіе мазались, третьи курили. Синяя Борода стоялъ съ королемъ Бобешомъ и показывалъ ему револьверъ.

— Купи!—говорилъ Синяя Борода.—Самъ купилъ въ Курскѣ по случаю за восемь, ну, а тебѣ отдамъ за шесть... Замѣчательный бой!

— Поосторожнѣй... Заряженъ вѣдь!

— Могу ли я видѣть господина Блистанова?—спросилъ вошедшій настройщикъ.

— Я самый!—вернулся къ нему Синяя Борода.—Что вамъ угодно?

— Извините, сударь, за безпокойство,—началъ настройщикъ умоляющимъ голосомъ:—но, вѣрьте... я человекъ болѣзненный, ревматическій... Мнѣ доктора приказали ноги въ теплѣ держать...

— Да вамъ, собственно говоря, что угодно?

— Видите ли-съ...—продолжалъ настройщикъ, обращаясь къ Синей Бородѣ.—Того-съ... эту ночь вы изволили быть въ мебелированныхъ комнатахъ купца Бухтѣева... въ 64 номерѣ...

— Ну, что врать-то!—усмѣхнулся король Бобешъ.—Въ 64 номерѣ моя жена живеть!

— Жена-съ? Очень пріятно-съ...—Муркинъ улыбнулся.—Онѣ-то, ваша супруга, собственно мнѣ и выдали ихніе сапоги... Когда они,—настройщикъ указалъ на Блистанова:—отъ нихъ ушли-съ, я хватился своихъ сапогъ... кричу, знаете ли, коридорнаго, а коридорный и говорить: «Да я, сударь, ваши сапоги въ сосѣдній номеръ поставилъ!» Онѣ по ошибкѣ, будучи въ состояніи ольяненія, поставилъ въ 64 номеръ мои сапоги и ваши-съ,—вернулся Муркинъ къ Блистанову:—а вы, уходя вотъ отъ ихней супруги, надѣли мои-съ...

— Да вы что же это?—проговорилъ Блистановъ и нахмурился.—Сплетничать сюда пришли, что ли?

— Нисколько-съ! Храни меня Богъ-съ! Вы меня не поняли-съ... Я вѣдь насчетъ чего? Насчетъ сапогъ! Вы вѣдь изволили ночевать въ 64 номерѣ?

— Когда?

— Въ эту ночь-съ.

— А вы меня тамъ видѣли?

— Цѣть-съ, не видѣлъ-съ,—отвѣтилъ Муркинъ въ сильномъ смущеніи, садясь и быстро снимая сапоги.—Я не видѣлъ-съ, но мнѣ ваши сапоги вотъ ихняя супруга выбросила... Это вмѣсто моихъ-съ.

— Такъ какое же вы имѣете право, милостивый государь, утверждать подобныя вещи? Не говорю ужъ о себѣ, но вы оскорбляете женщину, да еще въ присутствіи ея мужа!

За кулисами поднялся страшный шумъ. Король Бобешъ, оскорбленный мужъ, вдругъ побагровѣлъ и изо всей силы ударилъ кулакомъ по столу, такъ что въ уборной по содѣйству съ двумя актрисами сдѣлалось душно.

— И ты вѣришь?—кричалъ ему Синяя Борода.—Ты вѣришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, какъ собаку? Хочешь? Я изъ него бивштексъ сдѣлаю! Я его разможжу!

И всѣ, гулявшіе въ этотъ вечеръ въ городскомъ саду около лѣтняго театра, рассказываютъ теперь, что они видѣли, какъ передъ четвертымъ актомъ отъ театра по главной аллеѣ промчался босой человѣкъ съ желтымъ лицомъ и съ глазами, полными ужаса. За нимъ гнался человѣкъ въ костюмѣ Синей Бороды и съ револьверомъ въ рукѣ. Что случилось далѣе—никто не видѣлъ. Извѣстно только, что Муркинъ потомъ, послѣ знакомства съ Блистановымъ, двѣ недѣли лежалъ больной и къ словамъ: «я человѣкъ болѣзненный, ревматическій» сталъ прибавлять еще—«я человѣкъ раненый»...

РАДОСТЬ.

Было двѣнадцать часовъ ночи.

Митя Кулдаровъ, возбужденный, взъерошенный, влетѣлъ въ квартиру своихъ родителей и быстро заходилъ по всѣмъ комнатамъ. Родители уже ложились спать. Сестра лежала въ постели и дочитывала послѣднюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты?—удивились родители.—Что съ тобой?

— Охъ, не спрашивайте! Я никакъ не ожидалъ! Нѣтъ, я никакъ не ожидалъ! Это... это даже невѣроятно!

Митя захохоталъ и сѣлъ въ кресло, будучи не въ силахъ держаться на ногахъ отъ счастья.

— Это невѣроятно! Вы не можете себя представить! Вы поглядите!

Сестра прыгнула съ постели и, накинувъ на себя одѣяло, подошла къ брату. Гимназисты проснулись.

— Что съ тобой? На тебѣ лица нѣтъ!

— Это я отъ радости, мамаша! Вѣдь теперь меня знаетъ вся Россія! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этомъ свѣтѣ существуетъ коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ, а теперь вся Россія знаетъ объ этомъ! Мамаша! О, Господи!

— Митя вскочилъ, побѣгалъ по всѣмъ комнатамъ и опять сѣлъ.

— Да что такое случилось? Говори толкомъ!

— Вы живете, какъ дикіе звѣри, газетъ не читаете, не

обращаете никакого вниманія на гласность, а въ газетахъ такъ много замѣчательнаго! Ежели что случится, сейчасъ все извѣстно, ничего не укроется! Какъ я счастливъ! О, Господи! Въдь только про знаменитыхъ людей въ газетахъ печатають, а тутъ взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Гдѣ?

Папаша поблѣднѣлъ. Мамаша взглянула на образъ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, какъ были, въ одиѣхъ короткихъ ночныхъ сорочкахъ, подошли къ своему старшему брату.

— Да-съ! Про меня напечатали! Теперь обо мнѣ вся Россія знаетъ! Вы, мамаша, спрячьте этотъ номеръ на память! Будемъ читать иногда. Пбглядите!

Митя вытащилъ изъ кармана номеръ газеты, подаль отцу и ткнулъ пальцемъ въ мѣсто, обведенное синимъ карандашомъ.

— Читайте!

Отецъ надѣлъ очки.

— Читайте же!

Мамаша взглянула на образъ и перекрестилась. Папаша кашлянулъ и началъ читать:

«29-го декабря, въ одиннадцать часовъ вечера, коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ...

— Видите, видите? Дальше!

...коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ, выходя изъ портерной, что на Малой Бронной, въ домѣ Козихина, и находясь въ нетрезвомъ состояніи...

— Это я съ Семеномъ Петровичемъ... Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

... и находясь въ нетрезвомъ состояніи, поскользнулся и упалъ подъ лошадь стоявшаго здѣсь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновскаго уѣзда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнувъ черезъ Кулдарова и протащивъ черезъ него сани съ находившимся въ нихъ второй гильдин московскимъ купцомъ Степаномъ Луковымъ, помчалась по улицѣ и была задержана дворниками. Кулдаровъ, вначалѣ находясь въ безчувственномъ состояніи, былъ отведенъ въ полицейскій участокъ и освидѣтельствованъ врачомъ. Ударъ, который онъ получилъ по затылку...

— Это я объ оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

.... который онъ получилъ по затылку, отнесенъ къ легкимъ. О случившемся составленъ протоколъ. Потерпѣвшему подана медицинская помощь»...

— Велѣли затылокъ холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вотъ! Теперь по всей Россіи пошло! Дайте сюда!

Митя схватилъ газету, сложилъ ее и сунулъ въ карманъ.

— Побѣгу къ Макаровымъ, имъ покажу... Надо еще Иваницкимъ показать, Наталіи Ивановнѣ, Анисиму Васильичу... Побѣгу! Прощайте!

Митя надѣлъ фуражку съ кокардой и, торжествующій, радостный, выбѣжалъ на улицу.

УМНЫЙ ДВОРНИКЪ.

Посреди кухни стоялъ дворникъ Филиппъ и читалъ наставленіе. Его слушали лакеи, кучеръ, двѣ горничныя, поваръ, кухарка и два мальчика-поваренка, его родныя дѣти. Каждое утро онъ что-нибудь да проповѣдывалъ, въ это же утро предметомъ рѣчи его было просвѣщеніе.

— И живете вы всѣ какъ какой-нибудь свинячій народъ,—говорилъ онъ, держа въ рукахъ шапку съ бляхой.— Сидите вы тутъ сиднемъ и кромѣ невѣжества не видите въ васъ никакой цивилизаціи. Мишка въ шашки играетъ, Матрена орѣшки шелкаетъ, Никифоръ зубы скалитъ. Нешто это умъ? Это не отъ ума, а отъ глупости. Нисколько нѣтъ въ васъ умственныхъ способностей! А почему?

— Оно дѣйствительно, Филиппъ Никандръчъ,—замѣтилъ поваръ.—Извѣстно, какой въ насъ умъ? Мужичкій. Нешто мы понимаемъ?

— А почему въ васъ нѣтъ умственныхъ способностей?—продолжалъ дворникъ.— Потому что нѣтъ у вашего брата настоящей точки. И книжекъ вы не читаете, и насчетъ писаній нѣтъ у васъ никакого смысла. Взяли бы книжечку, сѣли бы себѣ, да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное. Вотъ ты, Миша, взялъ бы книжечку, да прочелъ бы тутъ. Тебѣ польза, да и другимъ пріятность. А въ книжкахъ обо всѣхъ предметахъ распространеніе. Тамъ и объ естествѣ найдешь, и о божествѣ, о странахъ земныхъ. Что изъ чего дѣлается, какъ разный народъ на всѣхъ языкахъ. И идолопоклонство тоже. Обо всемъ въ книжкахъ

найдешь, была бы охота. А то сидить себѣ около печи, жреть да пить. Чисто какъ скоты неподобные! Тьфу!

— Вамъ, Никандрычъ, на часы пора, — замѣтила кухарка.

— Знаю. Не твое дѣло мнѣ указывать. Вотъ, къ при- мѣру скажемъ, хоть меня взять. Какое мое занятіе при моемъ старческомъ возрастѣ? Чѣмъ душу свою удовлетво- рить? Лучше нѣтъ, какъ книжка, или вѣдомости. Сейчасъ вотъ пойду на часы. Просижу у воротъ часа три. И вы думаете, звать буду, или пустяки съ бабами болтать? Нѣ-ѣтъ, не таковскій! Возьму съ собой книжечку, сяду и буду читать себѣ въ позное удовольствіе. Такъ-то.

Филиппъ досталъ изъ шкапа истрепанную книжку и су- нулъ ее за пазуху.

— Вотъ оно мое занятіе. Сызмальства привыкъ. Ученье свѣтъ, неученье тьма—слыхали, чай? То-то...

Филиппъ надѣлъ шапку, крикнулъ и, бормоча, вышелъ изъ кухни. Онъ пошелъ за ворота, сѣлъ на скамью и на- хмурился, какъ туча.

— Это не народъ, а какіе-то химики свинячіе,—пробор- моталъ онъ, все еще думая о кухонномъ населеніи.

Успокоившись, онъ вытащилъ книжку, степенно вздохнулъ и принялся за чтеніе.

«Такъ написано, что лучше и не надо,—подумалъ онъ, про- читавъ первую страницу и покрутивъ головой.—Умудрить же Господь!»

Книжка была хорошая, московскаго изданія: «Разведеніе корнеплодовъ. Нужна ли намъ брюква». Прочитавъ первыя двѣ страницы, дворникъ значительно покачалъ головой и кашлянулъ.

— Правильно написано!

Прочитавъ третью страничку, Филиппъ задумался. Ему хотѣлось думать объ образованіи и почему-то о французахъ. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись въ ко- лѣна. Глаза прищурились.

И видѣлъ Филиппъ сонъ. Все, видѣлъ онъ, измѣнилось: земля та же самая, дома такіе же, ворота прежнія, но люди совсѣмъ не тѣ стали. Всѣ люди мудрые, нѣтъ ни одного дурака и по улицамъ ходятъ все французы и французы. Водовозъ, и тотъ разсуждаетъ:—«Я, признаться, книматомъ

очень недоволенъ и желаю на градусникъ поглядѣть», а у самого въ рукахъ толстая книга.

— А ты почитай календарь, — говорить ему Филиппъ.

Кухарка глупа, но и она вмѣшивается въ умные разговоры и вставляетъ свои замѣчанія. Филиппъ идетъ въ участокъ, чтобы прописать жильцовъ, — и странно, даже въ этомъ суровомъ мѣстѣ говорятъ только объ умномъ и вездѣ на столахъ лежатъ книжки. А вотъ кто-то подходитъ къ лакею Мишѣ, толкаетъ его и кричитъ: — «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»

— На часахъ спишь, болванъ? — слышитъ Филиппъ чей-то громовый голосъ. — Спишь, негодяй, скотина?

Филиппъ вскочилъ и протеръ глаза; передъ нимъ стоялъ помощникъ участковаго пристава.

— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестія! Я покажу тебѣ, какъ на часахъ спать, моррда!

Черезъ два часа дворника потребовали въ участокъ. Потомъ онъ опять былъ въ кухнѣ. Тутъ, тронутые его наставленіями, всѣ сидѣли вокругъ стола и слушали Мишу, который читалъ что-то по складамъ.

Филиппъ, нахмуренный, красный, подошелъ къ Мишѣ, ударилъ рукавицей по книгѣ и сказалъ мрачно:

— Брось!

ВЪ ЦИРУЛЬНѢ.

Утро. Еще нѣтъ и семи часовъ, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяинъ, малый лѣтъ двадцати-трехъ, неумытый, засаленный, но франтовато одѣтый, занятъ уборкой. Убирать въ сущности нечего, но онъ вспотѣлъ, работая. Тамъ тряпочкой вытереть, тамъ пальцемъ сколупинеть, тамъ клопа найдеть и смахнуть его со стѣны.

Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатыя стѣны оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами—тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, надъ нею позеленѣвшій отъ сырости колокольчикъ, который вздрагиваетъ и болѣзненно звенить самъ, безъ всякой причины. А поглядите вы въ зеркало, которое виситъ на одной изъ стѣнъ, и вашу физиономію перекоситъ во всѣ стороны самымъ безжалостнымъ образомъ! Передъ этимъ зеркаломъ стригутъ и бреютъ. На столѣ, такомъ же неумытомъ и засаленномъ, какъ самъ Макаръ Кузьмичъ, все есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на копейку, пудры на копейку, сильно разведеннаго одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стоить больше пятналтыннаго.

Надъ дверью раздается взвизгиванье большого колокольчика, и въ цирульню входитъ пожилой мужчина въ дубленомъ полушубкѣ и валенкахъ. Его голова и шея окутаны женской шалью.

Это Эрастъ Иванычъ Ягодовъ, крестный отецъ Макара Кузьмича. Когда-то онъ служилъ въ консерваторіи въ сто-

рожахъ, теперь же живетъ около Краснаго пруда и занимается слесарствомъ.

— Макарушка, здравствуй, свѣтъ!—говоритъ онъ Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.

Цѣлуются. Ягодовъ стаскиваетъ съ головы шаль, крестится и садится.

— Даль-то какая!—говоритъ онъ, кряхтя.—Шутка ли? Отъ Краснаго пруда до Калужскихъ воротъ.

— Какъ поживаете-съ?

— Плохо, братъ. Горячка была.

— Что вы? Горячка!

— Горячка. Мѣсяць лежалъ, думалъ, что помру. Собо-ровался. Теперь волосъ лѣзетъ. Докторъ постричься приказалъ. Волосъ, говоритъ, новый пойдетъ, крѣпкій. Вотъ я и думаю въ умѣ: пойду-ка къ Макару. Чѣмъ къ кому другому, такъ лучше ужъ къ родному. И сбѣгаетъ лучше, и денегъ не возьметъ. Далеконько немножко, оно правда, да вѣдь это что жъ? Та же прогулка.

— Я съ удовольствіемъ. Пожалуйста-съ!

Макаръ Кузьмичъ, шаркнувъ ногой, указываетъ на стулъ. Ягодовъ садится и глядитъ на себя въ зеркало, и видимо доволенъ зрѣлищемъ: въ зеркалѣ получается кривая рожа съ калмыцкими губами, тупымъ широкимъ носомъ и съ глазами на лбу. Макаръ Кузьмичъ покрываетъ плечи своего клиента бѣлой простыней съ желтыми пятнами и начи-наетъ визжать ножницами.

— Я васъ на-чисто, до гола!—говоритъ онъ.

— Натурально. На татарина чтобъ похожъ былъ, на бомбу. Волосъ гуще пойдетъ.

— Тетенька какъ поживаютъ-съ?

— Ничего, живетъ себѣ. Намедни къ майоршѣ принима-ть ходила. Рубль дали.

— Такъ-съ. Рубль. Придержите ухо-съ!

— Держу... Не обрѣжь, смотри. Ой, больно! Ты меня за волосы дергаешь.

— Это ничего-съ. Безъ этого въ нашемъ дѣлѣ невоз-можно. А какъ поживаютъ Анна Эрастовна?

— Дочка? Ничего, прыгаетъ. На прошлой недѣлѣ, въ среду, за Шейкина просватали. Отчего не приходилъ?

Ножницы перестаютъ визжать. Макаръ Кузьмичъ опу-скаетъ руки и спрашиваетъ испуганно:

— Кого просватали?

— Анну.

— Это какъ же-съ? За кого?

— За Шейкина, Прокофія Петрова. Въ Златоустенскомъ переулкѣ его тетка въ экономкахъ. Хорошая женщина. Натурально, всё мы рады, слава Богу. Черезъ недѣлю свадьба. Приходи, погуляемъ.

— Да какъ же это такъ, Эрастъ Иванычъ? — говоритъ Макаръ Кузьмичъ, блѣдный, удивленный, и пожимаетъ плечами. — Какъ же это возможно? Это... это никакъ невозможно! Вѣдь Анна Эрастовна... вѣдь я... вѣдь я чувствую къ ней питанье, я намѣреніе имѣлъ. Какъ же такъ?

— Да такъ. Взяли и просватали. Человѣкъ хорошій.

На лицѣ у Макара Кузьмича выступаетъ холодный потъ. Онъ кладетъ на столъ ножницы и начинаетъ тереть себѣ кулакомъ носъ.

— Я намѣреніе имѣлъ... — говоритъ онъ. — Это невозможно, Эрастъ Иванычъ! Я... я влюбленъ и предложеніе сердца дѣлалъ... И тетенька обѣщали. Я всегда уважалъ васъ все равно, какъ родителя... стригу васъ всегда задаромъ. Всегда вы отъ меня одолженіе имѣли и, когда мой папаша скончался, вы взяли диванъ и десять рублей денегъ и назадъ мнѣ не вернули. Помните?

— Какъ не помнить! Помню. Только какой же ты женихъ, Макаръ? Нешто ты женихъ? Ни денегъ, ни званія, ремесло пустяшное...

— А Шейкинъ богатый?

— Шейкинъ въ артельщикахъ. У него въ залогѣ лежатъ полторы тысячи. Такъ-то, братъ... Толкуй не толкуй, а дѣло ужъ сдѣлано. Назадъ не воротить, Макарушка. Другую себѣ ищи невѣсту... Свѣтъ не клиномъ сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?

Макаръ Кузьмичъ молчитъ и стоитъ недвижимъ, потомъ достаетъ изъ кармана платочекъ и начинаетъ плакать.

— Ну, чего! — утѣшаетъ его Эрастъ Иванычъ. — Брось! Эка, реветъ, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да тогда и плачь. Бери ножницы!

Макаръ Кузьмичъ беретъ ножницы, минуту глядитъ на нихъ безмысленно и роняетъ на столъ. Руки у него трясутся.

— Не могу! — говоритъ онъ. — Не могу сейчасъ, силы

моей нѣтъ! Несчастный я человѣкъ! И она несчастная! Любили мы другъ друга, обѣщались, и разлучили насъ люди недобрые безъ всякой жалости. Уходите, Эрастъ Ивановичъ! Не могу я васъ видѣть.

— Такъ я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.

— Ладно.

— Поуспокойся, а я къ тебѣ завтра, пораньше утромъ.

У Эраста Ивановича половина головы выстрижена до гола, и онъ похожъ на каторжника. Неловко оставаться съ такой головой, но дѣлать нечего. Онъ окутываетъ голову и шапкою и выходитъ изъ цирюльни. Оставшись одинъ, Макаръ Кузьмичъ садится и продолжаетъ плакать потихоньку.

На другой день рано утромъ опять приходитъ Эрастъ Ивановичъ.

— Вамъ что угодно-съ?—спрашиваетъ его холодно Макаръ Кузьмичъ.

— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.

— Пожалуйста деньги впередъ. Задаромъ не стригу-съ.

Эрастъ Ивановичъ, не говоря ни слова, уходитъ, и до сихъ поръ еще у него на одной половинѣ головы волосы длинные, а на другой—короткіе. Стрижку за деньги онъ считаетъ роскошью и ждетъ, когда на остриженной половинѣ волосы сами вырастутъ. Такъ и на свадьбѣ гулялъ.

САПОЖНИКЪ И НЕЧИСТАЯ СИЛА.

Быль канунъ Рождества. Марья давно уже храпѣла на печи, въ лампочкѣ выгорѣлъ весь керосинъ, а Федоръ Ниловъ все сидѣлъ и работалъ. Онъ давно бы бросилъ работу и вышелъ на улицу, но заказчикъ изъ Колокольнаго переулка, заказавшій ему головки двѣ недѣли назадъ, былъ вчера, бранился и приказалъ кончить сапоги непременно теперь, до утрени.

— Жизнь каторжная!—ворчалъ Федоръ, работая.—Одни люди спать давно, другіе гуляютъ, а ты вотъ, какъ Кантъ какой, сиди и шей чортъ знаетъ на кого...

Чтобъ не уснуть какъ-нибудь нечаянно, онъ то и дѣло доставалъ изъ-подъ стола бутылку и лилъ изъ горлышка и послѣ каждаго глотка крутилъ головой и говорилъ громко:

— Съ какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляютъ, а я обязанъ шить на нихъ? Оттого, что у нихъ деньги есть, а я нищій?

Онъ ненавидѣлъ всѣхъ заказчиковъ, особенно того, который жилъ въ Колокольномъ переулкѣ. Это былъ господинъ мрачнаго вида, длинноволосый, желтолицый, въ большихъ синихъ очкахъ и съ сильнымъ голосомъ. Фамилія у него была нѣмецкая, такая, что не выговоришь. Какого онъ былъ званія и чѣмъ занимался, понять было невозможно. Когда, двѣ недѣли назадъ, Федоръ пришелъ къ нему снимать мѣрку, онъ, заказчикъ, сидѣлъ на полу и толочъ что-то въ ступкѣ. Не успѣлъ Федоръ поздороваться, какъ содержимое ступки вдругъ вспыхнуло и загорѣлось яркимъ, краснымъ пламенемъ, завоняло сѣрой и жжеными перьями,

и комната наполнилась густымъ, розовымъ дымомъ, такъ что Федоръ разъ пять чихнулъ; и возвращаясь послѣ этого домой, онъ думалъ: «Кто Бога боится, тотъ не станетъ заниматься такими дѣлами».

Когда въ бутылкѣ ничего не осталось, Федоръ положилъ сапоги на столъ и задумался. Онъ подперъ тяжелую голову кулакомъ и сталъ думать о своей бѣдности, о тяжелой безпросвѣтной жизни, потомъ о богачахъ, объ ихъ большихъ домахъ, каретахъ, о сотенныхъ бумажкахъ... Какъ было бы хорошо, если бы у этихъ, чортъ ихъ подери, богачей потрескались дома, подошли лошади, полиняли ихъ шубы и собольи шапки! Какъ бы хорошо, если бы богачи мало-по-малу превратились въ нищихъ, которымъ ѣсть нечего, а бѣдный сапожникъ сталъ бы богачомъ и самъ бы куражился надъ бѣднякомъ - сапожникомъ наканунѣ Рождества.

Мечтая такъ, Федоръ вдругъ вспомнилъ о своей работѣ и открылъ глаза.

«Вотъ такъ исторія!—подумалъ онъ, оглядывая сапоги.— Головки у меня давно ужъ готовы, а я все сижу. Надо нести къ заказчику!»

Онъ завернулъ работу въ красный платокъ, одѣлся и вышелъ на улицу. Шелъ мелкій, жесткій снѣгъ, коловшій лицо какъ иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горѣли тускло и почему-то на улицѣ пахло керосиномъ такъ, что Федоръ сталъ перхать и кашлять. По мостовой взадъ и впередъ ѣздили богачи, и у каждого богача въ рукахъ былъ окорокъ и четверть водки. Изъ каретъ и саней глядѣли на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смѣхомъ:

— Нищій! Нищій!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

— Шьяница! Пьяница! Сапожникъ-безбожникъ, душа голенища! Нищій!

Все это было обидно, но Федоръ молчалъ и только отплевывался. Когда же встрѣтился ему сапожныхъ дѣлъ мастеръ Кузьма Лебедкинъ изъ Варшавы и сказалъ:—«Я женился на богатой, у меня работаютъ подмастерья, а ты нищій, тебѣ ѣсть нечего»,—Федоръ не выдержалъ и погнался за нимъ. Гнался онъ до тѣхъ поръ, пока не очу-

тился въ Колокольномъ переулкѣ. Его заказчикъ жилъ въ четвертомъ домѣ этъ угла, въ квартирѣ въ самомъ верхнемъ этажѣ. Къ нему нужно было идти длиннымъ, темнымъ дворомъ и потомъ взбираться вверхъ по очень высокой, скользкой лѣстницѣ, которая шаталась подъ ногами. Когда Ѳедоръ вошелъ къ нему, онъ, какъ и тогда, двѣ недѣли назадъ, сидѣлъ на полу и толокъ что-то въ ступкѣ.

— Ваше высокоблагородіе, сапожки принесъ! — сказалъ угрюмо Ѳедоръ.

Заказчикъ поднялся и молча сталъ примѣрять сапоги. Желая помочь ему, Ѳедоръ опустился на одно колѣно и стащилъ съ него старый сапогъ, но тотчасъ же вскочилъ и въ ужасѣ попятился къ двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! — подумалъ Ѳедоръ. — Вотъ она какая исторія!»

Первымъ дѣломъ слѣдовало бы перекреститься, потомъ бросить все и бѣжать внизъ; но тотчасъ же онъ сообразилъ, что нечистая сила встрѣтилась ему въ первый и, вѣроятно, въ послѣдній разъ въ жизни и не воспользоваться ея услугами было бы глупо. Онъ пересилилъ себя и рѣшилъ попытать счастья. Заложивъ назадъ руки, чтобъ не креститься, онъ почтительно кашлянулъ и началъ:

— Говорятъ, что лѣтъ поганѣй и хуже на свѣтѣ, какъ нечистая сила, а я такъ понимаю, ваше высокоблагородіе, что нечистая сила самая образованная. У чорта, извините, копыта и хвостъ сзади, да зато у него въ головѣ больше ума, чѣмъ у иного студента.

— Люблю за такія слова, — сказалъ польщенный заказчикъ. — Спасибо, сапожникъ! Что же ты хочешь?

И сапожникъ, не теряя времени, сталъ жаловаться на свою судьбу. Онъ началъ съ того, что съ самаго дѣтства онъ завидовалъ богатымъ. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живутъ въ большихъ домахъ и ѣздятъ на хорошихъ лошадяхъ. Почему, спрашивается, онъ бѣденъ? Чѣмъ онъ хуже Кузьмы Лебедкина изъ Варшавы, у котораго собственный домъ и жена ходитъ въ шляпкѣ? У него такой же носъ, такія же руки, ноги, голова, спина, какъ у богачей, такъ почему же онъ обязанъ работать, когда другіе гуляютъ? Почему онъ женатъ на Марьѣ, а не на дамѣ, отъ которой пахнетъ духами? Въ домахъ богатыхъ заказчиковъ ему часто приходится видѣть красивыхъ

барышень, но онѣ не обращаютъ на него никакого вниманія и только иногда смѣются и шепчутъ другъ другу:—«Какой у этого саложника краснѣй нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работающая баба, но вѣдь она необразованная, рука у нея тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политикѣ, или о чемъ-нибудь умномъ, то она вмѣшивается и несетъ ужасную чепуху.

— Что же ты хочешь?—перебилъ его заказчикъ.

— А я прошу, ваше высокоблагородіе, Чортъ Иванычъ, коли ваша милость, сдѣлайте меня богатымъ человѣкомъ!

— Изволь. Только вѣдь за это ты долженъ отдать мнѣ свою душу! Пока пѣтухи еще не запѣли, иди и подпиши вотъ на этой бумажкѣ, что отдаешь мнѣ свою душу.

— Ваше высокоблагородіе!—сказалъ Ѳедоръ вѣжливо.— Когда вы мнѣ головки заказывали, я не бралъ съ васъ денегъ впередъ. Надо сначала заказъ исполнить, а потомъ ужъ деньги требовать.

— Ну, ладно!—согласился заказчикъ.

Въ ступкѣ вдругъ вспыхнуло яркое пламя, повалилъ густой розовый дымъ и завоняло жжеными перьями и сѣрой. Когда дымъ разсѣялся, Ѳедоръ протеръ глаза и увидѣлъ, что онъ уже не Ѳедоръ и не саложникъ, а какой-то другой человѣкъ, въ жилеткѣ и съ цѣпочкой, въ новыхъ брюкахъ, и что сидитъ онъ въ креслѣ за большимъ столомъ. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

— Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородіе!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусокъ жареной баранины и миску съ огурцами, потомъ принесли на сковородѣ жаренаго гуся, немного погодя—вареной свинины съ хрѣномъ. И какъ все это благородно, политично! Ѳедоръ ѣлъ и передъ каждымъ блюдомъ выпивалъ по большому стакану отличной водки, точно генераль какой-нибудь или графъ. Послѣ свинины подали ему каши съ гусинымъ саломъ, потомъ яичницу со свинымъ саломъ и жареную печонку, и онъ все ѣлъ и восхищался. Но что еще? Еще подали пирогъ съ лукомъ и пареную рѣпу съ квасомъ. «И какъ это господа не полопаются отъ такой ѣды!»—думалъ онъ. Въ заключеніе подали большой горшокъ съ медомъ. Послѣ обѣда явился чортъ въ синихъ очкахъ и спросилъ, низко кланяясь:

— Довольны ли вы обѣдомъ, Ѳедоръ Пантелѣичъ?

Но Фодоръ не могъ выговорить ни одного слова, такъ его распирало послѣ обѣда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, онъ сталъ осматривать сапогъ на своей лѣвой ногѣ.

— За такіе сапоги я меньше не бралъ, какъ семь съ полтиной! Какой это сапожникъ шилъ?—спросилъ онъ.

— Кузьма Лебединъ,—отвѣтилъ лакей!

— Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебединъ изъ Варшавы. Онъ остановился въ почтительной позѣ у двери и спросилъ:

— Что прикажете, ваше высокоблагородіе?

— Молчать!—крикнулъ Фодоръ и топнулъ ногой. — Не смѣй разсуждать и помни свое сапожничье званіе, какой ты человекъ есть! Болванъ! Ты не умѣешь сапоговъ шить! И тебѣ всю харю побью! Ты зачѣмъ пришелъ?

— За деньгами-съ.

— Какія тебѣ деньги? Вонъ! Въ субботу приходи! Человекъ, дай ему въ шею!

Но тотчасъ же онъ вспомнилъ, какъ надъ нимъ самимъ мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душѣ, и чтобы развлечь себя, онъ вынулъ изъ кармана толстый бумажникъ и сталъ считать свои деньги. Денегъ было много, но Фодору хотѣлось еще больше. Въсѣ въ синихъ очкахъ принесъ ему другой бумажникъ, потолще, но ему захотѣлось еще больше, и чѣмъ дольше онъ считалъ, тѣмъ недовольнѣе становился.

Вечеромъ нечистый привелъ къ нему высокую, грудастую барыню въ красномъ платьѣ и сказалъ, что это его новая жена. До самой ночи онъ все цѣловался съ ней и вѣлъ пряники. А ночью лежалъ онъ на мягкой, пуховой перинѣ, ворочался съ-боку-на-бокъ и никакъ не могъ уснуть. Ему было жутко.

— Денегъ много,—говорилъ онъ женѣ:—того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свѣчкой поглядѣла!

Всю ночь не спалъ онъ и то и дѣло вставалъ, чтобы взглянуть, цѣлъ ли сундукъ. Подъ утро надо было идти въ церковь къ утрени. Въ церкви одинаковая честь всѣмъ, богатымъ и бѣднымъ. Когда Фодоръ былъ бѣденъ, то молился въ церкви такъ: «Господи, прости меня грѣшнаго!» То же самое говорилъ онъ и теперь, ставши богатымъ. Какая же разница? А послѣ смерти богатаго Фодора зако-

паютъ не въ золото, не въ алмазы, а въ такую же черную землю, какъ и послѣдняго бѣдняка. Горѣтъ Ѳеодоръ будетъ въ томъ же огнѣ, гдѣ и сапожники. Обидно все это казалось Ѳеодору, а тутъ еще во всемъ тѣлѣ тяжесть отъ обѣда и вмѣсто молитвы въ голову лѣзутъ разныя мысли о сундукѣ съ деньгами, о ворахъ, о своей проданной, загубленной душѣ.

Вышелъ онъ изъ церкви сердитый. Чтобъ прогнать нехорошія мысли, онъ, какъ часто это бывало раньше, затянулъ во все горло пѣсню. Но только-что онъ началъ, какъ къ нему подбѣжалъ городской и сказалъ, дѣлая подъ козырекъ:

— Баринъ, нельзя господамъ пѣть на улицѣ! Вы не сапожники!

Ѳеодоръ прислонился спиной къ забору и сталъ думать: чѣмъ бы развлечься?

— Баринъ!—крикнулъ ему дворникъ.—Не очень-то на заборъ напирай, шубу запачкаешь!

Ѳеодоръ пошелъ въ лавку и купилъ себѣ самую лучшую гармонію, потомъ шелъ по улицѣ и игралъ. Всѣ прохожіе указывали на него пальцами и смѣялись.

— А еще тоже баринъ!—дразнили его извозчики.—Словно сапожникъ какой...

— Нешто господамъ можно безобразить?—сказалъ ему городской.—Вы бы еще въ кабакъ пошли!

— Баринъ, подайте милостыньки Христа-ради!—вопили нищіе, обступая Ѳеодора со всѣхъ сторонъ.—Подайте!

Раньше, когда онъ былъ сапожникомъ, нищіе не обращали на него никакого вниманія, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встрѣтила его новая жена, барыня, одѣтая въ зеленую кофту и красную юбку. Онъ хотѣлъ приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей разѣ въ спину, но она сказала сердито:

— Мужикъ! Невѣжа! Не умѣешь обращаться съ барынями! Коли любишь, то ручку поцѣлуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анаемская! — подумалъ Ѳеодоръ. — Живутъ люди! Ни тебѣ пѣсню запѣть, ни тебѣ на гармоніи, ни тебѣ съ бабой поиграть... Тьфу!»

Только-что онъ съѣлъ съ барыней пить чай, какъ явился нечистый въ синихъ очкахъ и сказалъ:

— Ну, Федоръ Пантелѣичъ, я свое соблюлъ въ точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значить богато жить, будетъ съ васъ!

И потащилъ Федора въ адъ, прямо въ пекло, и черти слетались со всѣхъ сторонъ и кричали:

— Дуракъ! Болванъ! Осель!

Въ аду странно воняло керосиномъ, такъ что можно было задохнуться.

И вдругъ все исчезло. Федоръ открылъ глаза и увидѣлъ свой столъ, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно и отъ маленькаго огонька на фитилѣ валилъ вонючій дымъ, какъ изъ трубы. Около стоялъ заказчикъ въ синихъ очкахъ и кричалъ сердито:

— Дуракъ! Болванъ! Осель! Я тебя проучу, мошенника! Взять заказъ двѣ недѣли тому назадъ, а сапоги до сихъ поръ не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться къ тебѣ за сапогами по пяти разъ на день? Мерзавецъ! Скотина!

Федоръ встряхнулъ головой и принялся за сапоги. Заказчикъ еще долго бранился и грозилъ. Когда онъ, наконецъ, успокоился, Федоръ спросилъ угрюмо:

— А чѣмъ вы, баринъ, занимаетесь?

— Я przygotowuję бенгальскіе огни и ракеты. Я пиротехникъ.

Зазвонили къ утрени. Федоръ сдалъ сапоги, получилъ деньги и пошелъ въ церковь.

По улицѣ взадъ и впередъ сновали кареты и сани съ медвѣжьими полостями. По тротуару вмѣстѣ съ простымъ народомъ шли купцы, барыни, офицеры... Но Федоръ ужъ не завидовалъ и не ропталъ на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатымъ и бѣднымъ одинаково дурно. Одни имѣютъ возможность ѣздить въ каретѣ, а другіе—пѣть во все горло пѣсни и играть на гармоникѣ, а въ общемъ всѣхъ ждетъ одно и то же, одна могила, и въ жизни нѣтъ ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

МАЛЬЧИКИ.

— Володя пріѣхалъ!—крикнулъ кто-то на дворѣ.

— Володичка пріѣхали! — завопила Наталья, вбѣгая въ столовую.—Ахъ, Боже мой!

Вся семья Королевыхъ, съ часу на часъ поджидавшая своего Володю, бросилась къ окнамъ. У подъѣзда стояли широкія розвальни, и отъ тройки бѣлыхъ лошадей шелъ густой туманъ. Сани были пусты, потому что Володя уже стоялъ въ снѣгахъ и красными, озябшими пальцами развязывалъ башлыкъ. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на вискахъ были покрыты инеемъ, и весь онъ отъ головы до ногъ издавалъ такой вкусный морозный запахъ, что глядя на него, хотѣлось озябнуть и сказать: «бррр!». Мать и тетка бросились обнимать и цѣловать его, Наталья повалилась къ его ногамъ и начала стаскивать съ него валенки, сестры подняли визгъ, двери скрипѣли, хлопнули, а отецъ Володи въ одной жилеткѣ и съ ножницами въ рукахъ вбѣжалъ въ переднюю и закричалъ испуганно:

— А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доѣхалъ? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему съ отцомъ поздороваться! Что я не отецъ, что ли?

— Гавъ! Гавъ! — ревѣлъ басомъ Милордъ, огромный, черный песъ, стуча хвостомъ по стѣнамъ и по мебели.

Все смѣшалось въ одинъ сплошной, радостный звукъ, продолжавшійся минуты двѣ. Когда первый порывъ радости прошелъ, Королевы замѣтили, что кромѣ Володи въ передней находился еще одинъ маленькій человѣкъ, окутанный въ платки, шали и башлыки и покрытый инеемъ;

онъ неподвижно стоялъ въ углу, въ тѣни, бросаемою большою лисьей шубой.

— Володичка, а это же кто?—спросила шопотомъ мать.

— Ахъ!—спохватился Володя.—Это, честь имѣю пред-
ставить, мой товарищъ Чечевицынъ, ученикъ второго
класса... Я привезъ его съ собой погостить у насъ.

— Очень пріятно, милости просимъ!—сказалъ радостно
отецъ.—Извините, я по-домашнему, безъ скюртука... Пожа-
луйте! Наталья, помоги господину Черевичину раздѣться!
Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказаніе!

Немного погодя, Володя и его другъ Чечевицынъ, оше-
ломленные шумной встрѣчей и все еще розовые отъ холода,
сидѣли за столомъ и пили чай. Зимнее солнышко, прони-
кая сквозъ снѣгъ и узоры на окнахъ, дрожало на само-
варѣ и кучало свои чистые лучи въ полоскательной чашкѣ.
Въ комнатѣ было тепло, и мальчики чувствовали, какъ въ
ихъ озябшихъ тѣлахъ, не желая уступить другъ другу,
щекотались тепло и морозъ.

— Ну, вотъ скоро и Рождество!—говорилъ нараспѣвъ
отецъ, крутя изъ темно-рыжаго табаку папиросу.— А
давно ли было лѣто и мать плакала, тебя провожаячи?
Анъ ты и пріѣхалъ... Время, братъ, идетъ быстро! Ахнуть
не успеешь, какъ старость прійдетъ. Господинъ Чибисовъ,
кушайте, прошу васъ, не стѣсняйтесь! У насъ попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша—самой старшей
изъ нихъ было одиннадцать лѣтъ,—сидѣли за столомъ и не
отрывали глазъ отъ новаго знакомаго. Чечевицынъ былъ
такого же возраста и роста, какъ Володя, но не такъ пухлъ
и бѣлъ, а худъ, смуглъ, покрытъ веснушками. Волосы у
него были щетинистые, глаза узенькіе, губы толстыя, во-
обще былъ онъ очень некрасивъ и если бъ на немъ не
было гимназической куртки, то по наружности его можно
было бы принять за кухаркина сына. Онъ былъ угрюмъ,
все время молчалъ и ни разу не улыбнулся. Дѣвочки, глядя
на него, сразу сообразили, что это, должно-быть, очень
умный и ученый человекъ. Онъ о чемъ-то все время ду-
малъ и такъ былъ занятъ своими мыслями, что когда его
спрашивали о чемъ-нибудь, то онъ вздрагивалъ, встряхи-
валъ головой и просилъ повторить вопросъ.

Дѣвочки замѣтили, что и Володя, всегда веселый и раз-
говорчивый, на этотъ разъ говорилъ мало, вовсе не улы-

бался и какъ будто даже не радъ былъ тому, что пріѣхаль домой. Пока сидѣли за чаемъ, онъ обратился къ сестрамъ только разъ, да и то съ какими-то странными словами. Онъ указаль пальцемъ на самоваръ и сказалъ:

— А въ Калифорніи вмѣсто чаю пьютъ джинъ.

Онъ тоже былъ занятъ какими-то мыслями и, судя по тѣмъ взглядамъ, какими онъ изрѣдка обмѣнивался съ другомъ своимъ Чечевицынымъ, мысли у мальчиковъ были общія.

Послѣ чаю всѣ пошли въ дѣтскую. Отецъ и дѣвочки сѣли за столъ и занялись работой, которая была прервана пріѣздомъ мальчиковъ. Они дѣлали изъ разноцвѣтной бумаги цвѣты и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сдѣланный цвѣтокъ дѣвочки встрѣчали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этотъ цвѣтокъ падалъ съ неба; папаша тоже восхищался и изрѣдка бросаль ножницы на полъ, сердясь на нихъ за то, что онѣ тупы. Мамаша вбѣгала въ дѣтскую съ очень озабоченнымъ лицомъ и спрашивала:

— Кто взяль мои ножницы? Опять ты, Иванъ Николаичъ, взяль мои ножницы?

— Господи Боже мой, даже ножницъ не даютъ!—отвѣчалъ плачущимъ голосомъ Иванъ Николаичъ и, откинувшись на спинку стула, принималъ позу оскорбленнаго челоука, но черезъ минуту опять восхищался.

Въ предыдущіе свои пріѣзды Володя тоже занимался приготовленіями для елки, или бѣгалъ на дворъ поглядѣть, какъ кучеръ и пастухъ дѣлали снѣговую гору, но теперь онъ и Чечевицынъ не обратили никакого вниманія на разноцвѣтную бумагу и ни разу даже не побывали въ конюшнѣ, а сѣли у окна и стали о чемъ-то шептаться; потомъ они оба вмѣстѣ раскрыли географическій атласъ и стали разсматривать какую-то карту.

— Сначала въ Пермь...—тихо говорилъ Чечевицынъ...— Оттуда въ Тюмень... потомъ Томскъ... потомъ... потомъ... въ Камчатку... Отсюда самоѣды перевезуть на лодкахъ черезъ Беринговъ проливъ... Вотъ тебѣ и Америка... Тутъ много пушныхъ звѣрей.

— А Калифорнія?—спросиль Володя.

— Калифорнія ниже... Лишь бы въ Америку попасть, а

Калифорнія не за горами. Добывать же себѣ пропитаніе можно охотой и грабежомъ.

Чечевицынъ весь день сторонился дѣвочекъ и глядѣлъ на нихъ исподлобья. Послѣ вечерняго чая случилось, что его минутъ на пять оставили одного съ дѣвочками. Целовко было молчать. Онъ сурово кашлянулъ, потеръ правой ладонью лѣвую руку, поглядѣвъ угрюмо на Катю и спросилъ:

— Вы читали Майнъ-Рида?

— Нѣтъ, не читала... Послушайте, вы умѣете на конькахъ кататься?

Погруженный въ свои мысли, Чечевицынъ ничего не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, а только сильно надулъ щеки и сдѣлалъ такой вздохъ, какъ будто ему было очень жарко. Онъ еще разъ поднялъ глаза на Катю и сказалъ:

— Когда стадо бизоновъ бѣжитъ черезъ пампасы, то дрожитъ земля, а въ это время мустанги, испугавшись, брыкаются и жрутъ.

Чечевицынъ грустно улыбнулся и добавилъ:

— А также индѣйцы нападаютъ на поѣзда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это въ родѣ муравчиковъ, только съ крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господинъ Чечевицынъ.

— Нѣтъ. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобѣдимыхъ.

Маша, самая маленькая дѣвочка, поглядѣла на него, потомъ на окно, за которымъ уже наступалъ вечеръ, и сказала въ раздумьи:

— А у насъ чечевиду вчера готовили.

Совершенно непонятныя слова Чечевицына и то, что онъ постоянно шептался съ Володей, и то, что Володя не игралъ, а все думалъ о чемъ-то,—все это было загадочно и странно. И обѣ старшія дѣвочки, Катя и Соня, стали зорко слѣдить за мальчиками. Вечеромъ, когда мальчики ложились спать, дѣвочки подкрались къ двери и подслушали ихъ разговоръ. О, что онѣ узнали! Мальчики собирались бѣжать куда-то въ Америку добывать золото; у нихъ для дороги было уже все готово: пистолеть, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добыванія огня, компасъ и четыре рубля денегъ. Онѣ узнали, что мальчикамъ придется пройти пѣш-

комъ нѣсколько тысячъ версть, а по дорогѣ сражаться съ тиграми и дикарями, потомъ добывать золото и слоновую кость, убивать враговъ, поступать въ морскіе разбойники, пить джинъ и въ концѣ концовъ жениться на красавицахъ и обрабатывать плантаціи. Володя и Чечевицынъ говорили и въ увлеченіи перебивали другъ друга. Себя Чечевицынъ называлъ при этомъ такъ: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю—«блѣднолицый братъ мой».

— Ты смотри же, не говори мамѣ,—сказала Катя Сонѣ, отправляясь съ ней спать.—Володя привезетъ намъ изъ Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь мамѣ, то его не пустятъ.

Наканунѣ сочельника Чечевицынъ цѣлый день разсматривалъ карту Азіи и что-то записывалъ, а Володя, томный, пухлый, какъ укушенный пчелой, угрюмо ходилъ по комнатамъ и ничего не ѣлъ. И разъ даже въ дѣтской онъ остановился передъ иконою, перекрестился и сказалъ:

— Господи, прости меня грѣшнаго! Господи, сохрани мою бѣдную, несчастную маму!

Къ вечеру онъ расплакался. Идя спать, онъ долго обнималъ отца, мать и сестеръ. Катя и Соня понимали, въ чемъ тутъ дѣло, а младшая, Маша, ничего не понимала, рѣшительно ничего, и только при взглядѣ на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохомъ:

— Когда постъ, няня говоритъ, надо кушать горохъ и чечевицу.

Рано утромъ въ сочельникъ Катя и Соня тихо поднялись съ постелей и пошли подсмотрѣть, какъ мальчики будутъ бѣжать въ Америку. Подкрались къ двери.

— Такъ ты не поѣдешь?—сердито спрашивалъ Чечевицынъ.—Говори: не поѣдешь?

— Господи!—тихо плакалъ Володя.—Какъ же я поѣду? Мнѣ маму жалко.

— Блѣднолицый братъ мой, я прошу тебя, поѣдемъ! Ты же увѣрялъ, что поѣдешь, самъ меня сманилъ, а какъ ѣхать, такъ вотъ и струсиль.

— Я... я не струсиль, а мнѣ... мнѣ маму жалко.

— Ты говори: поѣдешь, или нѣтъ?

— Я поѣду, только... только погоди. Мнѣ хочется дома пожить.

— Въ такомъ случаѣ, я самъ поѣду!—рѣшилъ Чечеви-

цынь. — И безъ тебя обойдусь. А еще тоже хотѣлъ охотиться на тигровъ, сражаться! Когда такъ, отдай же мои пистоны!

Володя заплакалъ такъ горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Такъ ты не поѣдешь?—еще разъ спросилъ Чечевицынь.

— По... поѣду.

— Такъ одѣвайся!

И Чечевицынь, чтобы уговорить Володю, хвалилъ Америку, рычалъ какъ тигръ, изображалъ пароходъ, бранился, обѣщаль отдать Володѣ всю слоновую кость и всѣ львиныя и тигровыя шкуры.

И этотъ худенькій, смуглый мальчикъ, со щетинистыми волосами и веснушками казался, дѣвочкамъ необыкновеннымъ, замѣчательнымъ. Это былъ герой, рѣшительный, неустрашимый человекъ, и рычалъ онъ такъ, что, стоя за дверями, въ самомъ дѣлѣ можно было подумать, что это тигръ или левъ.

Когда дѣвочки вернулись къ себѣ и одѣвались, Катя съ глазами полными слезъ сказала:

— Ахъ, мнѣ такъ страшно!

До двухъ часовъ, когда сѣли обѣдать, все было тихо, но за обѣдомъ вдругъ оказалось, что мальчиковъ нѣтъ дома. Послали въ людскую, въ конюшню, во флигель къ приказчику—тамъ ихъ не было. Послали въ деревню—и тамъ не нашли. И чай потомъ тоже пили безъ мальчиковъ, а когда сядились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили въ деревню, искали, ходили съ фонарями на рѣку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день пріѣзжалъ урядникъ, писали въ столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вотъ у крыльца остановились розвальни, и отъ тройки бѣлыхъ лошадей валилъ паръ.

— Володя пріѣхалъ!—крикнулъ кто-то на дворѣ.

— Володичка пріѣхали!—завопила Наталья, вбѣгая въ столовую.

И Милордъ залаялъ басомъ: «гавъ! гавъ!» Оказалось, что мальчиковъ задержали въ городѣ, въ Гостиномъ дворѣ (тамъ они ходили и все спрашивали, гдѣ продается порохъ). Володя, какъ вошелъ въ переднюю, такъ и зары-

далъ и бросился матери на шею. Дѣвочки, трожя, съ ужасомъ думали о томъ, что теперь будетъ, слышали, какъ папаша повелѣ Володю и Чечевицына къ себѣ въ кабинетъ и долго тамъ говорили съ ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Развѣ это такъ можно?—убѣждалъ папаша.—Не дай Богъ, узнаютъ въ гимназїи, васъ исключать. А вамъ стыдно, господинъ Чечевицынъ! Не хорошо-съ! Вы зачинщикъ и, надѣюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Развѣ это такъ можно? Вы гдѣ ночевали?

— На вокзалѣ!—гордо отвѣтилъ Чечевицынъ.

Володя потомъ лежалъ, и ему къ головѣ прикладывали полотенце, смоченное въ уксусѣ. Послали куда-то телеграмму, и на другой день прїѣхала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

— Когда уѣзжалъ Чечевицынъ, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь съ дѣвочками, онъ не сказала ни одного слова; только взялъ у Катї тетрадку и написалъ въ знакъ памяти:

«Монтигому Ястребиный Коготь».

ИВАНЪ МАТВѢИЧЪ.

Шестой часть вечера. Одинъ изъ достаточно извѣстныхъ русскихъ ученыхъ—будемъ называть его просто ученымъ—сидитъ у себя въ кабинетѣ и нервно кусаетъ ногти.

— Это просто возмутительно!—говоритъ онъ, то и дѣло поглядывая на часы.—Это верхъ неуваженія къ чужому времени и труду. Въ Англии такой субъектъ не заработалъ бы ни гроша, умеръ бы съ голода! Ну, погоди же, при-
дешь ты...

И, чувствуя потребность излить на чемъ-нибудь свой гнѣвъ и нетерпѣніе, ученый подходитъ къ двери, ведущей въ женину комнату, и стучится.

— Послушай, Катя,—говоритъ онъ негодующимъ голосомъ.—Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди такъ не дѣлаютъ! Это мерзость! Рекомендуетъ переписчика и не знаетъ, кого онъ рекомендуетъ! Мальчишка аккуратнѣйшимъ образомъ опаздываетъ каждый день на два, на три часа. Ну, развѣ это переписчикъ? Для меня эти два-три часа дороже, чѣмъ для другого два-три года! Придетъ онъ, я его изругаю, какъ собаку, денегъ ему не заплачу и вышвырну вонъ! Съ такими людьми нельзя церемониться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тѣмъ онъ все ходитъ и ходитъ.

— А сегодня я рѣшилъ. Достаточно ужъ я изъ-за него потерялъ. Ты извини, но я съ нимъ ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вотъ, наконецъ, слышится звонокъ. Ученый дѣлаетъ

серьезное лицо, выпрямляется и, закинувъ назадъ голову, идетъ въ переднюю. Тамъ, около вѣшалки, уже стоитъ его переписчикъ Иванъ Матвѣичъ, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати, съ овальнымъ, какъ яйцо, безусымъ лицомъ, въ поношенномъ, облѣзломъ пальто и безъ калошъ. Онъ запыхался и старательно вытираетъ свои большіе, неуклюжіе сапоги о подстилку, причемъ старается скрыть отъ горничной дыру на сапогѣ, изъ которой выглядываетъ бѣлый чулокъ. Увидѣвъ ученаго, онъ улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бываетъ на лицахъ только у дѣтей и очень простодушныхъ людей.

— А, здравствуйте,—говоритъ онъ, протягивая большую, мокрую руку.—Что, прошло у васъ горло?

— Иванъ Матвѣичъ!—говоритъ ученый дрогнувшимъ голосомъ, отступая назадъ и складывая вмѣстѣ пальцы обѣихъ рукъ.—Иванъ Матвѣичъ!

Затѣмъ онъ подскакиваетъ къ переписчику, хватая его за плечо и начинаетъ слабо трясти.

— Что вы со мной дѣлаете!?—говоритъ онъ съ отчаяніемъ.—Ужасный, гадкій вы человѣкъ, что вы дѣлаете со мной! Вы надо мной смѣетесь, издѣваетесь? Да?

Иванъ Матвѣичъ, судя по улыбкѣ, которая еще не совсѣмъ сползла съ его лица, ожидалъ совсѣмъ другого приѣма, а потому, увидѣвъ дышащее негодованіемъ лицо ученаго, онъ еще больше вытягиваетъ въ длину свою овальную физиономію и въ изумленіи открываетъ ротъ.

— Что... что такое?—спрашиваетъ онъ.

— И вы еще спрашиваете!—всплескиваетъ руками ученый.—Знаете, какъ дорого для меня время, и такъ опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я вѣдь сейчасъ не изъ дому,—бормочетъ Иванъ Матвѣичъ, нерѣшительно развязывая шарфъ.— Я у тетки на именинахъ былъ, а тетка верстъ за шесть отсюда живетъ... Если бы я прямо изъ дому шелъ, ну, тогда другое дѣло.

— Ну, сообразите, Иванъ Матвѣичъ, есть ли логика въ вашихъ поступкахъ? Тутъ дѣло нужно дѣлать, дѣло срочное, а вы по именинамъ, да по теткамъ шлетесь! Ахъ, да развязывайте поскорѣе вашъ ужасный шарфъ! Это, наконецъ, невыносимо!

Ученый опять подкакивает въ переносчику и помогает ему распутать шарфъ.

— Какая вы баба... Ну, идите!.. Скорѣи, пожалуйста!

Сморкаясь въ грязный, скомканный платочекъ и поправляя свой сѣренькій пиджачокъ, Иванъ Матвѣичъ идетъ черезъ залу и гостиную въ кабинетъ. Тутъ для него давно уже готово и мѣсто, и бумага, и даже папирасы.

— Садитесь, садитесь,—подгоняетъ ученый, нетерпѣливо потирая руки.— Непосѣный вы человекъ!.. Знаете, что работа срочная, и такъ опивляете. Поневоля браниться станешь. Ну, пейте!.. На чемъ мы остановились?

Иванъ Матвѣичъ приглаживаетъ свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается изъ угла въ уголъ, сосредоточивается и начинаетъ диктовать.

— Суть въ томъ... запятая... что нѣкоторыя, такъ сказать, основныя формы... написали?— формы единственно обуславливаются самой сущностью тѣхъ началъ... запятая... которыя находятъ въ нихъ свое выраженіе и могутъ воплотиться только въ нихъ... Съ новой строки... Тамъ, конечно, точка... Наибольше самостоятельности представляютъ... представляютъ... тѣ формы, которыя имѣютъ не столько политическій... запятая... сколько социальный характеръ...

— Теперь у гимназистовъ другая форма... спрашиваетъ Иванъ Матвѣичъ.— Когда я учился, при мнѣ лучше было: мундиры носили...

— Ахъ, да ищите, пожалуйста! — сердится ученый.— Характеръ... написали? Говоря же о преобразованіяхъ, относящихся къ устройству... государственныхъ функций, а не регулированію народнаго быта... запятая... нельзя сказать, что они отличаются національностью своихъ формъ... послѣднія три слова въ ковычкахъ... Э-э... тово... Такъ что вы хотѣли сказать про гимназію?

— Что при мнѣ другую форму носили.

— Ага... такъ... А вы давно оставили гимназію?

— Да я же вамъ говорилъ вчера! Я ужъ года три какъ не учусь... Я изъ четвертаго класса выпелъ...

— А зачѣмъ вы гимназію бросили?— спрашиваетъ ученый, заглядывая въ писанье Ивана Матвѣича.

— Такъ, по домашнимъ обстоятельствамъ.

— Опять вамъ говорить, Иванъ Матвѣичъ! Когда, на-

конецъ, вы бросите вашу привычку растягивать строки? Въ строкѣ не должно быть меньше сорока букв!

— Что жъ, вы думаете, я это нарочно?—обижается Иванъ Матвѣичъ. — Зато въ другихъ строкахъ больше сорока букв... Вы сочтите. А ежели вамъ кажется, что я натягиваю, то вы можете мнѣ плату убавить.

— Ахъ, да не въ томъ дѣло! Какой вы не деликатный, право... Чуть что, сейчасъ вы о деньгахъ. Главное—аккуратность, Иванъ Матвѣичъ, аккуратность главное! Вы должны приучать себя къ аккуратности.

Горничная вноситъ въ кабинетъ на подносѣ два стакана чаю и корзинку съ сухарями... Иванъ Матвѣичъ делово, обѣими руками, беретъ свой стаканъ и тотчасъ же начинаетъ пить. Чай слишкомъ горячъ. Чтобы не ожечь губъ Иванъ Матвѣичъ старается дѣлать маленькіе глотки. Онъ съѣдаетъ одинъ сухарь, потомъ другой, третій и, конфузливо покосившись на ученаго, робко тянется за четвертымъ... Его громкіе глотки, аппетитное чавканье и выраженіе голодной жадности въ приподнятыхъ бровяхъ раздражаютъ ученаго.

— Кончайте скорѣй... Время дорого.

— Вы диктуйте. Я могу въ одно время и пить, и писать... Я, признаться, проголодался.

— Еще бы, ибшкомъ ходите!

— Да... А какая нехорошая погода! Въ нашихъ краяхъ въ это время ужъ весной нахлеть... Вездѣ луки, снѣгъ таетъ.

— Вы вѣдь, кажется, южанинъ?

— Изъ Донской области... А въ мартѣ у насъ совсѣмъ ужъ весна. Тутъ морозъ, всѣ въ шубахъ ходятъ, а тамъ трава... вездѣ сухо и тарантуловъ даже ловить можно.

— А зачѣмъ ловить тарантуловъ?

— Такъ... отъ нечего дѣлать... — говоритъ Иванъ Матвѣичъ и вздыхаетъ. — Ихъ ловить забавно. Нащипавъ на нитку кусочекъ смолы, опустишь смолку въ норку и начнешь смолкой бить тарантула по спинѣ, а онъ, проклятый, разсердится, схватитъ лапками за смолу, и увязнетъ... А что мы съ ними дѣлали! Накидаемъ ихъ, бывало, полныи тазикъ и пустимъ въ нѣмъ бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паукъ есть, въ родѣ тоже какъ бы та-

рантула. Въ дракѣ онъ одинъ можетъ сто тарантуловъ убить.

— М-да... Однако, будемъ писать... На чемъ мы остановились?

Ученый диктуетъ еще строкъ двадцать, потомъ садится и погружается въ размышленіе.

Иванъ Матвѣичъ въ ожиданіи, пока тотъ надумаетъ, сидитъ и, вытягивая шею, старается привести въ порядокъ воротничокъ своей сорочки. Галстукъ сидитъ не плотно, запонки выскочили и воротникъ то и дѣло расходится.

— М-да...—говоритъ ученый.—Такъ-съ... Что, не нашли еще себѣ мѣста, Иванъ Матвѣичъ?

— Нѣтъ. Да гдѣ его найдешь? Я, знаете ли, надумалъ въ вольноопредѣляющіеся идти. А отецъ совѣтуетъ въ аптеку поступить.

— М-да... А лучше, если бы въ университетъ поступили. Экзамень трудный, но при терпѣнн и усидчивомъ трудѣ можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше... Вы много читаете?

— Признаться, мало...—говоритъ Иванъ Матвѣичъ, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нѣтъ...

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм!.. Гоголя... Нѣтъ не читалъ!

— Иванъ Матвѣичъ! И вамъ не совѣстно? Ай-ай! Такой хорошій вы малый, такъ много въ васъ оригинальнаго, и вдругъ... Даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вамъ дамъ! Обязательно прочтите! Иначе мы разсоримся!

Опять наступаетъ молчаніе. Ученый полулежитъ на мягкой кушеткѣ и думаетъ, а Иванъ Матвѣичъ, оставивъ въ докоѣ воротнички, все свое вниманіе обращаетъ на сапоги. Онъ и не замѣтилъ, какъ подъ ногами отъ растаявшаго снѣга образовались двѣ большія лужи. Ему совѣстно.

— Что-то не клеится сегодня... — бормочетъ, ученый.— Иванъ Матвѣичъ, вы, кажется, и птицъ любите ловить?

— Это осенью... Здѣсь я не ловлю, а тамъ, дома, всегда ловилъ.

— Такъ-съ... хорошо-съ. А писать все-таки нужно.

Ученый рѣшительно встаетъ и начинаетъ диктовать, но черезъ десять строкъ опять садится на кушетку.

— Нѣтъ ужъ, вѣроятно, отложимъ до завтрашняго утра, — говоритъ онъ. — Приходите завтра утромъ, только пораньше, часамъ къ девяти. Храни васъ Богъ опоздать.

Иванъ Матвѣичъ кладетъ перо, встаетъ изъ-за стола и садится на другой стулъ. Проходить минутъ пять въ молчаніи, и онъ начинаетъ чувствовать, что ему пора уходить, что онъ лишній, но въ кабинетѣ ученаго такъ уютно, свѣтло и тепло, и еще настолько свѣжо впечатлѣніе отъ добныхъ сухарей и сладкаго чая, что у него сжимается сердце отъ одной мысли о домѣ. Дома—бѣдность, голодь, холодъ, ворчунъ-отецъ, попреки, а тутъ такъ безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и пницами.

Ученый смотритъ на часы и берется за книгу.

— Такъ вы дадите мнѣ Гоголя? — спрашиваетъ Иванъ Матвѣичъ, поднимаясь.

— Дамъ, дамъ. Только куда же вы спѣшите, голубчикъ? Посидите, расскажите что-нибудь...

Иванъ Матвѣичъ садится и широко улыбается. Почти каждый вечеръ сидитъ онъ въ этомъ кабинетѣ и всякій разъ чувствуетъ въ голосѣ и во взглядѣ ученаго что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бываютъ даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался къ нему, привыкъ, и если бранить его за опаздыванія, то только потому, что скучаетъ по его болтовнѣ о тарантулахъ и о томъ, какъ на Дону ловятъ щеглять.

БЕЗЗАЩИТНОЕ СУЩЕСТВО.

Какъ ни сплелъ былъ ночью урицадомъ педагры, какъ ни скрипѣли потомъ нервы, а Кистуновъ все-таки отира-
вился утромъ на службу и своевременно началъ приемку
просителей и клиентовъ банка. Видъ у него былъ томный, за-
мученный, и говорилъ онъ еле-еле, чуть дыша, какъ уми-
рающій.

— Что вамъ угодно?— обратился онъ къ просительнице,
въ допотопномъ салонѣ, очень похожей сзади на большого
навознаго жука. — Извольте ли видѣть, ваше превосходительство,—
начала скороговоркой просительница:— мужъ мой, коллеж-
скій ассессоръ Щукинъ, проболѣлъ пять мѣсяцевъ, и пока
онъ, извините, лежалъ дома и лѣчился, ему безъ всякой
причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда
я пошла за его жалованьемъ, они, извольте видѣть, вычи-
ли изъ его жалованья 24 рубля 36 коп.! За чтѣ? спрашиваю.—
«А онъ, говорятъ, изъ товарищеской кассы брать и за
него другіе чиновники ручались». Какъ же такъ? Нешто
онъ могъ безъ моего согласія брать? Это невозможно, ваше
превосходительство. Да почему такое? Я женщина бѣдна я,
только и кормлюсь жильцами... Я слабая, беззащитная...
Отъ всѣхъ обиду терплю и ни отъ кого добраго слова не
слышу...

Просительница заморгала глазами и полѣзла въ салонъ
за платкомъ. Кистуновъ взялъ отъ нея прошеніе и сталъ
читать.

— Позвольте, какъ же это?— пожалъ онъ плечами. — Я
ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда по-
дали. Ваша просьба по существу совсѣмъ къ намъ не отно-

сится. Вы потрудитесь обратиться въ то вѣдомство, гдѣ служилъ вашъ мужъ.

— И-и, батюшка, я въ пяти мѣстахъ уже была и вездѣ даже прошенія не вняли!— сказала Щукина.— Я ужъ и голову потеряла, да спасибо, дай Богъ здоровья зятю Борису Матвѣичу, надоумилъ къ вамъ сходить. «Вы, говорить, мамаша, обратитесь къ господину Кистуну: онъ вліятельный человѣкъ, для васъ все можетъ сдѣлать»... Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можемъ для васъ сдѣлать... Поймите вы: вашъ мужъ, насколько я могу судить, служилъ по военно-медицинскому вѣдомству, а наше учрежденіе совершенно частное, коммерческое, у насъ банкъ. Какъ не понять этого!

Кистунъ еще разъ пожалъ плечами и повернулся къ господину въ военной формѣ съ плюсомъ.

— Ваше превосходительство, — пропѣла жалобнымъ голосомъ Щукина:— а что мужъ боленъ былъ, у меня докторское свидѣтельство есть! Вотъ оно, извольте взглянуть!

— Прекрасно, я вѣрю вамъ, — сказали раздраженно Кистунъ:— но, повторяю, это къ намъ не относится. Странно и даже смѣшно! Неужели вашъ мужъ не знаетъ, куда вамъ обращаться?

— Онъ, ваше превосходительство, у меня ничего не знаетъ. Зарядилъ оло: «Не твое дѣло! пошла вонъ!» да и все тутъ... А чье же дѣло? Вѣдь на моей-то шеѣ они сидятъ! На мое-ей!

Кистунъ опять повернулся къ Щукиной и сталъ объяснять ей разницу между вѣдомствомъ военно-медицинскимъ и частнымъ баякомъ. Та внимательно выслушала его, кивнула въ знакъ согласія головой и сказала:

— Такъ, такъ, такъ... Понимаю, батюшка. Въ такомъ случаѣ, ваше превосходительство, прикажите выдать мнѣ хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.

— Уфъ! — вздохнулъ Кистунъ, откидывая назадъ голову.— Вамъ не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться къ намъ съ подобной просьбой такъ же странно, какъ подавать прошенію о разводѣ, напримѣръ, въ аптеку или въ пробирную палатку. Вамъ не доплатили, но мы-то тутъ при чемъ?

— Ваше превосходительство, заставьте вѣчно Бога мо-

лить, пожалуйте меня, сироту,—заплакала Щукина.—Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И съ жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бѣгай, а тутъ еще говѣю и зять безъ мѣста... Только одна слава, что пью и ѣмъ, а сама еле на ногахъ стою... Всю ночь не спала.

Кистуновъ почувствовалъ сердцебіеніе. Сдѣлавъ страдальческое лицо и пржавъ руку къ сердцу, онъ опять началъ объяснять Щукиной, но голосъ его оборвался...

— Итъ, извините, я не могу съ вами говорить,—сказалъ онъ и махнулъ рукой.—У меня даже голова закружилась. Вы и намъ мѣшаете, и время понапрасну теряете. Уфъ!.. Алексѣй Николаичъ,—обратился онъ къ одному изъ служащихъ:—объясните вы, пожалуйста, госпожѣ Щукиной!

Кистуновъ, обойдя всѣхъ просителей, отправился къ себѣ въ кабинетъ и подписалъ съ десятокъ бумагъ, а Алексѣй Николаичъ все еще возился со Щукиной. Сидя у себя въ кабинетѣ, Кистуновъ долго слышалъ два голоса: монотонный, сдержанный басъ Алексѣя Николаича и плачущій, взвизгивающій голосъ Щукиной...

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болѣзненная,—говорила Щукина.—На видъ, можетъ, я крѣпкая, а ежели разобрать, такъ во мнѣ ни одной жилочки нѣтъ здоровой. Еле на ногахъ стою и аппетита рѣшилась... Кофій сегодня пила, и безъ всякаго удовольствія.

А Алексѣй Николаичъ объяснялъ ей разницу между вѣдомствами и сложную систему направленія бумагъ. Скоро онъ утомился и его смѣнилъ бухгалтеръ.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистуновъ, нервно ломая пальцы и то и дѣло подходя къ графину съ водой.—Это идиотка, пробка! Меня замучила и ихъ заѣздить, подлая! Уфъ... сердце бьется!

Черезъ полчаса онъ позвонилъ. Явился Алексѣй Николаичъ.

— Чтѣ у васъ тамъ?—томно спросилъ Кистуновъ.

— Да никакъ не втолкуемъ, Петръ Александрычъ! Просто замучились. Мы ей про Θому, а она про Ерему...

— Я... я не могу ея голоса слышать... Заболѣлъ я... не выношу...

— Позвать швейцара, Петръ Александрычъ, пусть ее выведетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ!—испугался Кистуновъ.— Она визгъ подниметъ, а въ этомъ домѣ много квартиръ, и про насъ чортъ знаетъ что могутъ подумать... Ужъ вы, голубчикъ, какъ-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Черезъ минуту опять послышалось гудѣнье Алексѣя Николаича. Прошло четверть часа, и на смѣну его басу зажуужжаль сильный тенорокъ бухгалтера.

— За-мѣ-чательно подлая!— возмущался Кистуновъ, нервно вздрагивая плечами.— Глуца, какъ сивый меринъ, чортъ бы ее взялъ. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень...

Въ сосѣдней комнатѣ Алексѣй Николаичъ, выбившись изъ силъ, наконецъ, постучалъ пальцемъ по столу, потомъ себѣ по лбу.

— Однимъ словомъ, у васъ на плечахъ не голова,— сказалъ онъ:— а вотъ что...

— Ну, нечего, нечего...— обидѣлась старуха.— Своей женѣ постучи... Скважина! Не очень-то рукамъ волю давай.

И, глядя на нес со злобой, съ остревѣніемъ, точно желая проглотить ее, Алексѣй Николаичъ сказалъ тихимъ, придушеннымъ голосомъ:

— Вонъ отсюда!

— Что-о?— взвизгнула вдругъ Щукина.— Да какъ вы смѣете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой мужъ коллежскій асессоръ! Скважина, этакая! Схожу къ адвокату Дмитрію Карлычу, такъ отъ тебя званія не останется! Троиухъ жильцовъ засудила, а за твои дерзкія слова ты у меня въ ногахъ навалешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ване превосходительство!

— Пошла вонъ отсюда, язва!— прошипѣлъ Алексѣй Николаичъ.

Кистуновъ отворилъ дверь и выглянулъ въ присутствіе.

— Что такое?— спросилъ онъ плачущимъ голосомъ.

Щукина, красная какъ ракъ, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала въ воздухъ пальцами. Служащіе въ банкѣ стояли по сторонамъ и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство!— бросилась къ Кистунову Щукина.— Вотъ этотъ, вотъ самый... вотъ этотъ... (она указала на Алексѣя Николаича) постучалъ себѣ пальцемъ по

лбу, а потомъ по столу... Вы вѣдали ему мое дѣло разобрать, а онъ насмѣхается! Я женщина слабая, беззащитная... Мой мужъ коллежскій ассессоръ и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня, — простоналъ Кистуновъ: — я разберу... приму мѣры... Уходите... поспѣйте!

— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мнѣ нынче деньги надобны!

Кистуновъ дрожащей рукой провелъ себя по лбу, вздохнулъ и опять началъ объяснять.

— Сударыня, я уже вамъ говорилъ. Здѣсь банкъ, учрежденіе частное, коммерческое... Что же вы отъ насъ хотите? И поймите толкомъ, что вы намъ гнѣшаете.

Щукина выслушала его и выдохнула.

— Такъ, такъ... — согласилась она. — Только ужъ вы, ваше превосходительство, сдѣлайте милость, заставьте вѣчно Бога молить, будьте отцомъ роднымъ, защитите. Ежели медицинскаго свидѣтельства мало, то я могу и изъ участка удостовѣреніе предетавить... Прикажете выдать мнѣ деньги!

У Кистунова зарябило въ глазахъ. Онъ выдыхнулъ весь воздухъ, сколько его было въ легкихъ, и въ изнеможеніи опустился на стулъ.

— Сколько вы хотите получить? — спросилъ онъ слабымъ голосомъ.

— 24 рубля 36 копеекъ.

Кистуновъ вынулъ изъ кармана бумажникъ, досталъ оттуда четвертной билетъ и подаль его Щукиной.

— Берите и... и уходите!

Щукина завернула въ платочекъ деньги, спрятала и, сморщивъ лицо въ сладкую, доликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на мѣсто?

— Я уйду... боленъ... — сказать Кистуновъ томнымъ голосомъ. — У меня странное сердцебіеніе.

По отъѣздѣ его, Алексѣй Николаичъ послалъ Никиту за лавровишневыми каплями, и вѣкъ, принявъ по 20 кагаль, усѣднее за работу, а Щукина потомъ часа два еще сидѣла въ передней и разговаривала со швейцаромъ, ожидая, когда вернется Кистуновъ.

Приходила она и на другой день.

ДА МЫ.

Федоръ Петровичъ, директоръ народныхъ училищъ N—ской губерніи, считающій себя человекомъ справедливымъ и великодушнымъ, принималъ однажды у себя въ канцеляріи учителя Временскаго.

— Нѣтъ, г. Временскій,—говорилъ онъ:—отставка неизбежна. Съ такимъ голосомъ, какъ у васъ, нельзя продолжать учительской службы. Да какъ онъ у васъ пропасть?

— Я холоднаго пива, вспотѣвши, выпилъ...—прошипѣлъ учитель.

— Окая жалость! Служилъ человекъ четырнадцать лѣтъ, и вдругъ такая напасть! Чортъ знаетъ, изъ-за какого пустяка приходится свою карьеру ломать. Что же вы теперь намѣрены дѣлать?

Учитель ничего не отвѣтилъ.

— Вы семейны?—спросилъ директоръ.

— Жена и двое дѣтей, ваше превосходительство...—прошипѣлъ учитель.

Наступило молчаніе. Директоръ всталъ изъ-за стола и прошелся изъ угла въ уголъ, волнуясь.

— Ума не приложу, что мнѣ съ вами дѣлать!—сказалъ онъ. — Учителемъ быть вы не можете, до пенсін вы еще не дотянули... отпустить же васъ на произволъ судьбы, на всѣ четыре стороны, не совѣмъ ловко. Вы для насъ свой человекъ, прослужили четырнадцать лѣтъ, значитъ, наше дѣло помочь вамъ... Но какъ помочь? Что я для васъ могу сдѣлать? Войдите вы въ мое положеніе: что я могу для васъ сдѣлать?

Наступило молчаніе; директоръ ходилъ и все думалъ, а Временскій, подавленный своимъ горемъ, сидѣлъ на краешкѣ стула и тоже думалъ. Вдругъ директоръ просіялъ и даже пальцами шелкннулъ.

— Удивляюсь, какъ это я раньше не вспомнилъ!—заговорилъ онъ быстро.—Послушайте, вотъ что я могу предложить вамъ... На будущей недѣлѣ письмоводитель у насъ въ пріютѣ уходитъ въ отставку. Если хотите, поспушайте на его мѣсто! Вотъ вамъ!

Временскій, не ожидавшій такой милости, тоже просіялъ.

— И отлично,—сказалъ директоръ.—Сегодня же напишите прошеніе...

Отпустивъ Временскаго, Федоръ Петровичъ почувствовалъ облегченіе и даже удовольствіе: передъ нимъ уже не торчала согбенная фигура шинящаго педагога, и пріятно было сознавать, что, предложивъ Временскому свободную вакансію, онъ поступилъ справедливо и по совѣсти, какъ добрый, вполне порядочный человѣкъ. Но это хорошее настроеніе продолжалось недолго. Когда онъ вернулся домой и сѣлъ обѣдать, его жена, Настасья Ивановна, вдругъ вспомнила:

— Ахъ, да, чуть было не забыла! Вчера пріѣзжала ко мнѣ Нина Сергѣевна и просила за одного молодого человѣка. Говорятъ, у насъ въ пріютѣ вакансія открывается...

— Да, но это мѣсто уже другому обѣщано,—сказалъ директоръ и нахмурился.—И ты знаешь мое правило: я никогда не даю мѣстъ по протекціи.

— Я знаю, но для Нины Сергѣевны, полагаю, можно сдѣлать исключеніе. Она насъ какъ родныхъ любитъ, а мы для нея до сихъ поръ еще ничего хорошаго не сдѣлали. И не думай, Федя, отказывать! Своими капризами ты и ее обидишь, и меня.

— А кого она рекомендуетъ?

— Ползухина.

— Какого Ползухина? Это того, что на новый годъ въ собраніи Чацкаго игралъ? Джентльмена этого? Ни за что! Директоръ пересталъ ѣсть.

— Ни за что!—повторилъ онъ.—Боже меня сохрани!

— Но почему же?

— Пойми, матушка, что ужъ ежели молодой человѣкъ дѣйствуетъ не прямо, а черезъ женщину, то, стало-быть, онъ дрянъ! Почему онъ самъ ко мнѣ не идетъ?

Послѣ обѣда директоръ легъ у себя въ кабинетѣ на софѣ и сталъ читать полученныя газеты и письма.

«Милый Ѳеодоръ Петровичъ!—писала ему жена городского головы.—Вы какъ-то говорили, что я сердцевѣдка и знатокъ людей. Теперь вамъ предстоитъ провѣрить это на дѣлѣ. Къ вамъ придетъ на-дняхъ просить мѣста писемоводителя въ нашемъ пріютѣ нѣкій К. Н. Ползухинъ, котораго я знаю за прекраснаго молодого человѣка. Юноша очень симпатиченъ. Принявъ въ немъ участіе, вы убѣдитесь», и т. д.

— Ни за что!—проговорилъ директоръ—Боже меня сохрани!

Послѣ этого не проходило дня, чтобы директоръ не получалъ писемъ, рекомендовавшихъ Ползухина. Въ одно прекрасное утро явился и самъ Ползухинъ, молодой человѣкъ, полный, съ бритымъ, жокейскимъ лицомъ, въ новой черной парѣ...

— По дѣламъ службы я принимаю не здѣсь, а въ канцеляріи,—сказалъ сухо директоръ, выслушавъ его просьбу.

— Простите, ваше превосходительство, но наши общіе знакомые посоветовали мнѣ обратиться именно сюда.

— Гм!..—промычалъ директоръ, съ ненавистью глядя на его остроносые башмаки. — Насколько я знаю, — сказалъ онъ:—у вашего батюшки есть состояніе и вы не нуждаетесь, какая же вамъ надобность проситься на это мѣсто? Вѣдь жалованье грошовой!

— Я не изъ-за жалованья, а такъ... И все-таки служба казенная...

— Такъ-съ... Мнѣ кажется, черезъ мѣсяць же вамъ надобѣсть эта должность и вы ее бросите, а между тѣмъ есть кандидаты, для которыхъ это мѣсто—карьеря на всю жизнь. Есть обѣдники, для которыхъ...

— Не надобѣсть, ваше превосходительство! — перебилъ Ползухинъ.—Честное слово, я буду стараться!

Директора взорвало.

— Послушайте,—спросилъ онъ, презрительно улыбаясь:—почему вы не обратились сразу ко мнѣ, а нашли нужнымъ предварительно безпоконть дамъ?

— Я не зналъ, что это для васъ будетъ неприятно, — отвѣтилъ Ползухинъ и сконфузился.—Но, ваше превосходительство, если вы не придаете значенія рекомендательнымъ письмамъ, то я могу вамъ представить аттестаціи...

Онъ досталъ изъ кармана бумагу и подалъ ее директору. Подъ аттестаціей, написанной канцелярскимъ слогомъ и почеркомъ, стояла подпись губернатора. По всему видно было, что губернаторъ подписалъ не читая, лишь бы только отдѣлаться отъ какой-нибудь навязчивой барыни.

— Нечего дѣлать, преклоняюсь... слушаю-съ... — сказалъ директоръ, прочитавъ аттестацію, и вдохнулъ. — Подавайте завтра прошеніе... Нечего дѣлать...

И когда Ползухинъ ушелъ, директоръ весь отдался чувству отвращенія.

— Дряль! — шипѣлъ онъ, шагая изъ угла въ уголъ. — Добялся-таки своего, негодный шаркутъ, бабій угодникъ! Гадина! Тварь!

Директоръ громко плюнулъ въ дверь, за которой скрылся Ползухинъ, и вдругъ сконфузился, потому что въ это время входила къ нему въ кабинетъ барыня, жена управляющаго казенной палаты...

— Я на минутку, на минутку... — начала барыня. — Садитесь, кумъ, и слушайте меня внимательно... Ну-съ, говоря, у васъ есть свободная вакансія... Завтра или сегодня будетъ у васъ молодой человекъ, явкто Ползухинъ...

Барыня щебетала, а директоръ глядѣлъ на нее мутными, осовѣлыми глазами, какъ человекъ, собирающійся упасть въ обморокъ, глядѣлъ и улыбался изъ притворія.

А на другой день, принимая у себя въ канцеляріи Временскаго, директоръ долго не рѣшался сказать ему правду. Онъ мялся, путался и не находилъ, съ чего начать, что сказать. Ему хотѣлось извиниться передъ учителемъ, разсказать ему всю сущую правду, но языкъ заплетался, какъ у пьянаго, уши горѣли и стало вдругъ обидно и досадно, что приходится играть такую нелѣпую роль — въ своей канцеляріи, передъ своимъ подчиненнымъ. Онъ вдругъ ударилъ по столу, вскопчилъ и закричалъ сердито:

— Нѣтъ у меня для васъ мѣста! Нѣтъ и нѣтъ! Оставьте меня въ покои! Не мучайте меня! Отстаньте отъ меня, наконецъ, сдѣлайте одолженіе!

И вышелъ изъ канцеляріи.

ПОЛИНЬКА.

Второй часъ дня. Въ галантерейномъ магазинѣ «Парижскія Новости», что въ одномъ изъ пассажей, торговля въ разгарѣ. Слышенъ монотонный гулъ приказчицкихъ голо-совъ, гулъ, какой бываетъ въ школѣ, когда учитель заставляеть всѣхъ учениковъ зубрить что-нибудь вслухъ. И этого однообразнаго шума не нарушаютъ ни смѣхъ дамъ, ни стукъ входной стеклянной двери, ни бѣготня мальчиковъ.

Посреди магазина стоитъ Полинъка, дочь Марьи Андреевны, содержательницы модной мастерской, маленькая, худощавая блондинка, и ищетъ кого-то глазами. Къ ней подбѣгаетъ чернобровый мальчикъ и спрашиваетъ, глядя на нее очень серьезно:

— Что прикажете, сударыня?

— Со мной всегда Николай Тимофеичъ занимается,— отвѣчаетъ Полинъка.

А приказчикъ Николай Тимофеичъ, стройный брюнетъ, завитой, одѣтый по модѣ, съ большой булавкой на галстукѣ, уже расчистилъ мѣсто на прилавкѣ, вытянулъ шею и съ улыбкой глядитъ на Полинъку.

— Пелагея Сергѣевна, мое почтеніе!— кричитъ онъ хоршимъ, здоровымъ баритономъ.— Пожалуйста!

— А, здрасте,— говоритъ Полинъка, подходя къ нему.— Видите, я опять къ вамъ... Дайте мнѣ аграманту какого-нибудь.

— Для чего вамъ собственно?

— Для лифчика, для спинки, однимъ словомъ на весь гарнитурчикъ.

— Сію минуту.

Николай Тимофенчъ кладетъ передъ Полинкой нѣсколько сортовъ аграманта; та лѣниво выбираетъ и начинаетъ торговаться.

— Помилуйте, рубль вовсе не дорого!—убѣждаетъ приказчикъ, снисходительно улыбаясь.—Это аграмантъ французскій, восьмигранный... Извольте, у насъ есть обыкновенный, вѣсовой... Тотъ 45 копеекъ аршинъ, это ужъ не то достоинство! Помилуйте-съ!

— Миѣ еще нуженъ стеклярусный бокъ съ аграмантными пуговицами,—говоритъ Полинька, нагибаясь надъ аграмантомъ, и почему-то вздыхаетъ. — А не найдутся ли у васъ подъ этотъ цвѣтъ стеклярусныя бонбошки?

— Есть-съ.

Полинька еще нѣже нагибается къ прилавку и тихо спрашиваетъ:

— А зачѣмъ это вы, Николай Тимофенчъ, въ четвергъ ушли отъ насъ такъ рано?

— Гм!.. Странно, что вы это замѣтили,—говоритъ приказчикъ съ усмѣшкой.—Вы такъ были увлечены господиномъ студентомъ, что... странно, какъ это вы замѣтили!

Полинька вспыхиваетъ и молчитъ. Приказчикъ съ нервной дрожью въ пальцахъ закрываетъ коробки и безъ всякой надобности ставитъ ихъ одна на другую. Проходитъ минута въ молчаніи.

— Миѣ еще стеклярусныхъ кружевъ,—говоритъ Полинька, поднимая виноватыя глаза на приказчика.

— Какихъ вамъ? Стеклярусныя кружева по тюлю черныя и цвѣтныя—самая модная отдѣлка.

— А почему они у васъ?

— Черныя отъ 80 копеекъ, а цвѣтныя на 2 р. 50 к. А къ вамъ я больше никогда не приду-съ, — тихо добавляетъ Николай Тимофенчъ.

— Почему?

— Почему? Очень просто. Сами вы должны понимать. Съ какой стати миѣ себя мучить? Странное дѣло! Нешто миѣ пріятно видѣть, какъ этотъ студентъ около васъ разыгрываетъ роль-съ? Вѣдь я все вижу и понимаю. Съ самой осени онъ за вами ухаживаетъ по-настоящему и почти каждый день вы съ нимъ гуляете, а когда онъ у васъ въ гостяхъ сидитъ, такъ вы въ него впившись глазами, словно въ ан-

гела какого-нибудь. Вы въ него влюблены, для васъ лучше и человекъ нѣтъ, какъ онъ, ну и отлично, нечего и разговаривать...

Полинька молчитъ и въ замѣшательствѣ водить пальцемъ по прилавку.

— Я все отлично вижу, — продолжалъ приказчикъ. — Какой же мнѣ резонъ къ вамъ ходить? У меня самолюбіе есть. Не всякому пріятно пятымъ колесомъ въ возу быть. Чего вы спрашивали-то?

— Мнѣ мамаша много кой-чего велѣла взять, да я забыла. Еще плюмажу нужно.

— Какого прикажете?

— Получше, какой моднѣй.

— Самый модный теперь изъ птичьяго пера. Цвѣтъ, ежели желаете, модный теперь гелиотропъ, или цвѣтъ канакъ, то-есть бордо съ желтымъ. Выборъ громадный. А къ чему вся эта исторія клонится, я рѣшительно не понимаю. Вы вотъ влюбившись, а чѣмъ это кончится?

На лицѣ Николая Тимофенча около глазъ выступили красныя пятна. Онъ мнетъ въ рукахъ нѣжную пушистую тесьму и продолжаетъ бормотать:

— Воображаете за него замужъ выйти, что ли? Ну, насчетъ этого—оставьте ваше воображеніе. Студентамъ запрещается жениться, да и развѣ онъ къ вамъ затѣмъ ходить, чтобы все честнымъ образомъ кончить? Какъ же! Вѣдь они, студенты эти самые, насъ и за людей не считаютъ... Ходятъ они къ купцамъ да къ модисткамъ только затѣмъ, чтобъ надъ необразованностью посмѣяться и пьянствовать. У себя дома, да въ хорошихъ домахъ стыдно пить, ну, а у такихъ простыхъ, необразованныхъ людей, какъ мы, некого имъ стыдиться, можно и вверхъ ногами ходить. Да-съ! Такъ какого же вы плюмажу возьмете? А ежели онъ за вами ухаживаетъ и въ любовь играетъ, то извѣстно зачѣмъ... Когда станетъ докторомъ или адвокатомъ, будетъ вспоминать: «Эхъ, была у меня, скажетъ, когда-то блондиночка одна! Гдѣ-то она теперь»? Небось и теперь ужъ тамъ, у себя, среди студентовъ, хвалится, что у него модисточка есть на примѣтѣ.

Полинька садится на стулъ и задумчиво глядитъ на гору бѣлыхъ коробокъ.

— Нѣтъ, ужъ я не возьму плюмажу!—вздыхаетъ она.—

Пусть сама мамаша беретъ, какого хочетъ, а я ошибиться могу. Мнѣ вы дайте шесть аршинъ бахромы для дипломата, что по 40 копейкѣ аршинъ. Для того же дипломата дадите пуговицъ кокосовыхъ, съ насквозь прошитыми ушками... чтобы покрѣпче держались...

Николай Тимофеичъ заворачиваетъ ей и бахромы, и пуговицъ. Она виновато глядитъ ему въ лицо и видимо ждетъ, что онъ будетъ продолжать говорить, но онъ угрюмо молчитъ и приводитъ въ порядокъ плюмажъ.

— Не забыть бы еще для капота пуговицъ взять...—говоритъ она послѣ нѣкотораго молчанія, утирая платкомъ блѣдныя губы.

— Какихъ вамъ?

— Для купчихи шьемъ, значить, дайте что-нибудь выдающееся изъ ряда обыкновеннаго...

— Да, если купчихѣ, то нужно выбирать попестрѣе. Вотъ-съ пуговицы. Сочетаніе цвѣтовъ синяго, краснаго и моднаго золотистаго. Самыя глазастыя. Кто поделикатиѣе, тѣ берутъ у насъ черныя матовыя съ однимъ блестящимъ ободочкомъ. Только я не понимаю. Неужели вы сами не можете разсудить? Ну, къ чему поведутъ эти... прогулки?

— Я сама не знаю...—шепчетъ Полинька, и нагибается къ пуговицамъ.—Я сама не знаю, Николай Тимофеичъ, что со мной дѣлается.

За спиной Николая Тимофеича, прижавъ его къ прилавку, протискивается солидный приказчикъ съ бакенами и, сіяя самую утонченною галантностью, кричитъ:

— Будьте любезны, мадамъ, пожаловать въ это отдѣленіе! Кофточки джерсе имѣются три номера: гладкая, сутажеть и со стеклярусомъ! Какую вамъ прикажете?

Одновременно около Полиньки проходитъ толстая дама, которая говорить густымъ низкимъ голосомъ, почти басомъ:

— Только пожалуйста, чтобъ онѣ были безъ шивовъ, а тканья, и чтобъ пломба была вваленная.

— Дѣлайте видъ, что товаръ осматриваете, — шепчетъ Николай Тимофеичъ, наклоняясь къ Полинькѣ и насильно улыбаясь.—Вы, Богъ съ вами, какая-то блѣдная и больная, совсѣмъ изъ лица измѣнились. Бросить онъ васъ Пелагея Сергѣевна! А если женится когда-нибудь, то не по любви, а съ голода, на деньги ваши польститесь. Сдѣлаетъ себѣ на приданое приличную обстановку, а потомъ стыдиться васъ

будеть. Отъ гостей и товарищей будетъ васъ прятать, потому что вы не образованная, такъ и будетъ говорить: моя кувалда. Развѣ вы можете держать себя въ докторскомъ или адвокатскомъ обществѣ? Вы для нихъ модистка, невѣжественное существо.

— Николай Тимофенчъ! — кричитъ кто-то съ другого конца магазина.— Вотъ мадемуазель просятъ три аршина ленты съ нико! Есть у насъ?

Николай Тимофенчъ поворачивается въ сторону, ослабляетъ свое лицо и кричитъ:

— Есть-съ! Есть ленты съ нико, атаманъ съ атласомъ и атласъ съ муаромъ!

— Кстати, чтобъ не забыть, Оля просила взять для нея корсетъ!—говоритъ Полинъка.

— У васъ на глазахъ... слезы!—пугается Николай Тимофенчъ... — Затѣмъ это? Пойдемте къ корсетамъ, я васъ загорожу, а то неловко.

Насильно улыбаясь и съ преувеличенною развязностью, приказчикъ быстро ведетъ Полинъку къ корсетному отдѣленію и прячетъ ее отъ публики за высокую пирамиду изъ коробокъ...

— Вамъ какой прикажете корсетъ?—громко спрашиваетъ онъ и тутъ же шепчетъ:— Утрите глаза!

— Мнѣ... мнѣ въ 48 сантиметровъ! Только, пожалуйста, она просила двойной съ подкладкой... съ настоящимъ китовымъ усомъ... Мнѣ поговорить съ вами нужно, Николай Тимофенчъ. Приходите нынче!

— О чемъ же говорить? Не о чемъ говорить.

— Вы одинъ только... меня любите и, кромѣ васъ, не съ кѣмъ мнѣ поговорить.

— Не камышь, не кости, а настоящій китовый усъ... О чемъ же намъ говорить? Говорить не о чемъ... Вѣдь пойдете съ нимъ сегодня гулять?

— По...пойду.

— Ну, такъ о чемъ же тутъ говорить? Не можешь разговорами... Влюблены вѣдь?

— Да...—шепчетъ нерѣшительно Полинъка, и изъ глазъ ея брызжутъ крупныя слезы.

— Какіе же могутъ быть разговоры?—бормочетъ Николай Тимофенчъ, нервно пожимая плечами и блѣднѣя.—Ни-

какихъ разговоровъ и не нужно... Утрите глаза, вотъ и все
Я... я ничего не желаю...

Въ это время къ пирамидѣ изъ коробокъ подходитъ вы-
сокій, тощій приказчикъ и говоритъ своей покушательницѣ:

— Не угодно ли, прекрасный эластикъ для подвязокъ,
не останавливающий крови, признанный медициной...

Николай Тимофеичъ загоразиваетъ Полиньку и, стараясь
скрыть ея и свое волненіе, морщитъ лицо въ улыбку и
громко говорить:

— Есть два сорта кружевъ, сударыня! Бумажныя и шел-
ковыя! Оріенталь, британскія, валенсьенъ, кроше, торшонъ—
это бумажныя-сь, а рококо, сутажесть, камбре—это шелко-
выя... Ради Бога, утрите слезы! Сюда идутъ!

И видя, что слезы все еще текутъ, онъ продолжаетъ
еще громче:

— Испанскія, рококо, сутажесть, камбре... Чулки фельде-
косовые, бумажные, шелковые...

ПРИДАНОЕ.

Много я видалъ на своемъ вѣку домовъ, большихъ и малыхъ, каменныхъ и деревянныхъ, старыхъ и новыхъ, но особенно врѣзался мнѣ въ память одинъ домъ. Это, впрочемъ, не домъ, а домикъ. Онъ малъ, въ одинъ маленький этажъ и въ три окна, и ужасно похожъ на маленькую, горбатую старушку въ чепцѣ. Оштукатуренный въ бѣлый цвѣтъ, съ черепичной крышей и ободранной трубой, онъ весь утонулъ въ зелени шелковицъ, акацій и тополей, посаженныхъ дѣдами и прадѣдами теперешнихъ хозяевъ. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мѣшаетъ ему, впрочемъ, быть городскимъ домикомъ. Его широкій дворъ стоитъ въ рядъ съ другими, тоже широкими зелеными дворами, и входитъ въ составъ Московской улицы. Никто по этой улицѣ никогда не ѣздитъ, рѣдко кто ходитъ.

Ставни въ домикъ постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются въ свѣтѣ. Свѣтъ имъ не нуженъ. Окна никогда не открываются, потому что обитатели домика не любятъ свѣжаго воздуха. Люди, постоянно живущіе среди шелковицъ, акацій и репейника, равнодушны къ природѣ. Однимъ только дачникамъ Богъ далъ способность понимать красоты природы, остальное же человѣчество относительно этихъ красотъ коснѣетъ въ глубокомъ невѣжествѣ. Не цѣнятъ люди того, чѣмъ богаты. «Что имѣемъ, не хранимъ»; мало того,—что имѣемъ, того не любимъ. Вокругъ домика рай земной, зелень, живутъ веселыя птицы, въ домикъ же, — увы! Лѣтомъ въ немъ знойно и душно, зимою — жарко, какъ въ банѣ, угарно и скучно, скучно...

Въ первый разъ посѣтилъ я этотъ домикъ уже давно, по дѣлу: я привезъ поклонъ отъ хозяина дома, полковника Чикамасова, его женѣ и дочери. Это первое мое посѣщеніе я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.

Вообразите себѣ маленькую, сырую женщину, лѣтъ со-рока, съ ужасомъ и изумленіемъ глядящую на васъ въ то время, когда вы входите изъ передней въ залу. Вы «чужой», гость, «молодой человѣкъ»—и этого уже достаточно, чтобы повергнуть въ изумленіе и ужасъ. Въ рукахъ у васъ нѣтъ ни кистея, ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но васъ встрѣчаютъ тревогой.

— Кого я имѣю честь и удовольствіе видѣть?—спрашиваетъ васъ дрожащимъ голосомъ пожилая женщина, въ которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.

Вы называете себя и объясняете, зачѣмъ пришли. Ужасъ и изумленіе смѣняются пронзительнымъ, радостнымъ «ахъ!» и закатываніемъ глазъ. Это «ахъ», какъ эхо, передается изъ передней въ залъ, изъ зала въ гостиную, изъ гостиной въ кухню... и такъ до самаго погреба. Скоро весь домикъ наполняется разноголосыми, радостными «ахъ». Минуть черезъ пять вы сидите въ гостиной, на большомъ, мягкомъ, горячемъ диванѣ и слышите, какъ ахаетъ ужъ вся Московская улица.

Пахло порошкомъ отъ моли и новыми козовыми бапмаками, которые, завернутые въ платочекъ, лежали возлѣ меня на стулѣ. На окнахъ герань, кисейныя тряпочки. На тряпочкахъ сытыя мухи. На стѣнѣ портретъ какого-то архіерея, написанный масляными красками и прикрытый стекломъ съ разбитымъ уголышкомъ. Отъ архіерея идетъ рядъ предковъ съ желто-лимонными, цыганскими фізіономіями. На столѣ наперстокъ, катушка нитокъ и недовязанный чулокъ, на полу выкройки и черная кофточка съ живыми нитками. Въ сосѣдней комнатѣ двѣ встревоженные, оторопѣвшія старухи хватаютъ съ пола выкройки и куски ланкорта...

— У насъ, извините, ужасный беспорядокъ! — сказала Чикамасова.

Чикамасова бесѣдовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой все еще подбирали выкройки. Дверь тоже какъ-то конфузливо, то отворялась на вершокъ, то затворялась.

— Ну, что тебѣ?—обратилась Чикамасова къ двери.

— *Où est mon cravatte, lequel mon père m'avait envoyé de Koursk?*—спросилъ за дверью женскій голосокъ.

— Ah, est ce que, Marie, que... Ахъ, развѣ можно... Nous avons donc chez nous un homme très peu connu par nous... Спроси у Лукеры...

«Однако, какъ хорошо говоримъ мы по-французски!»— прочелъ я въ глазахъ у Чикамасовой, покраснѣвшей отъ удовольствія.

Скоро отворилась дверь, и я увидѣлъ высокую худую дѣвицу, лѣтъ девятнадцати, въ длинномъ кисейномъ платьѣ и золотомъ поясѣ, на которомъ, помню, висѣлъ перламутровый вѣеръ. Она вошла, присѣла и вспыхнула. Вспыхнулъ сначала ея длинный, нѣсколько рябоватый носъ, съ носа пошло къ глазамъ, отъ глазъ къ вискамъ.

— Моя дочь!—пропѣла Чикамасова. — А это, Манечка, молодой человѣкъ, который...

Я познакомился и выразилъ свое удивленіе по поводу множества выкроекъ. Мать и дочь опустили глаза.

— У насъ на Вознесенье была ярмарка,—сказала мать.— На ярмаркѣ мы всегда накупаемъ матерій и шьемъ потомъ цѣлый годъ до слѣдующей ярмарки. Въ люди шитье мы никогда не отдаемъ. Мой Петръ Степанычъ достаетъ не особенно много, и намъ нельзя позволять себѣ роскошь. Приходится самимъ шить.

— Но кто же у васъ носить такую массу?. Вѣдь васъ только двое.

— Ахъ... развѣ это можно носить? Это не носить! Это—приданое!

— Ахъ, тапан, что вы?—сказала дочь и зарумянилась.—Они и въ правду могутъ подумать... Я никогда не выйду замужъ! Никогда!

Сказала это, а у самой при словѣ «замужъ» загорѣлись глазки.

Принесли чай, сухари, варенья, масло, потомъ покормили малиной со сливками. Въ семь часовъ вечера былъ ужинъ изъ шести блюдъ, и во время этого ужина я услышалъ громкій зѣвокъ; кто-то громко зѣвнулъ въ сосѣдней комнатѣ. Я съ удивленіемъ поглядѣлъ на дверь: такъ зѣвать можетъ только мужчина.

— Это братъ Петра Семеныча, Егоръ Семенычъ...— пояснила Чикамасова, замѣтивъ мое удивленіе.— Онъ живеть у насъ съ прошлаго года. Вы извините его, онъ не можетъ выйти къ вамъ. Дикарь такой... конфузится чужихъ... Въ монастырь собирается... На службѣ огорчили его... Такъ воть съ горя...

Послѣ ужина Чикамасова показала мнѣ епитрахиль, которую собственноручно вышивала Егоръ Семенычъ, чтобы потомъ пожертвовать въ церковь. Манечка сбросила съ себя на минуту робость и показала мнѣ кисеть, который она вышивала для своего папаша. Когда я сдѣлалъ видъ, что пораженъ ея работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просіяла и предложила мнѣ пойти съ ней въ кладовую. Въ кладовой я увидѣлъ штукъ пять большихъ сундуковъ и множество сундучковъ и ящичковъ.

— Это... приданое!— шепнула мнѣ мать.— Сами нашили.

Поглядѣвъ на эти угрюмые сундуки, я сталъ прощаться съ хлѣбосольными хозяевами. И съ меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь.

Это слово пришлось мнѣ сдержать лѣтъ черезъ семь послѣ перваго моего посвѣщенія, когда я посланъ былъ въ городокъ, въ качествѣ эксперта по одному судебному дѣлу. Зайдя въ знакомый домикъ, я услыхалъ тѣ же аханья... Меня узнали... Еще бы! Мое первое посвѣщеніе въ жизни ихъ было цѣлымъ событіемъ, а событія тамъ, гдѣ ихъ мало, помнятся долго. Когда я вошелъ въ гостиную, мать, еще болѣе потолстѣвшая и уже посѣдѣвшая, ползала по полу и кроила какую-то сипюю матерію; дочь сидѣла на диванѣ и вышивала. Тѣ же выкройки тотъ же запахъ порошка отъ моли, тотъ же портретъ съ разбитымъ уголышкомъ. Но перемѣны все-таки были. Возлѣ архіерейскаго портрета висѣлъ портретъ Петра Семеныча и дамы были въ траурѣ. Петръ Семенычъ умеръ черезъ недѣлю послѣ производства своего въ генералы.

Начались воспоминанія... Генеральша всплакнула.

— У насъ большое горе!— сказала она.— Петра Семеныча— вы знаете?— уже нѣтъ. Мы съ ней сироты и сами должны о себѣ заботиться. А Егоръ Семенычъ живъ, но мы не можемъ сказать о немъ ничего хорошаго. Въ монастырь его не приняли за... за горячіе напитки. И онъ пьетъ теперь еще больше съ горя. Я собираюсь съѣздить къ пред-

водителю, хочу жаловаться. Вообразите, онъ нѣсколько разъ открывалъ сундуки и... забиралъ Манечкино приданое и жертвовалъ его странникамъ. Изъ двухъ сундуковъ все поветаскала! Если такъ будетъ продолжаться, то моя Манечка останется совсѣмъ безъ приданого...

— Что вы говорите, маман!—сказала Манечка и сконфузилась.—Они и взаправду могутъ Богъ знаетъ что подумать... Я никогда, никогда не выйду замужъ!

Манечка вдохновенно, съ надеждой глядѣла въ потолокъ и видимо не вѣрила въ то, что говорила.

Въ передней юркнула маленькая мужская фигурка съ большой лысиной и въ коричневомъ сюртукѣ, въ калошахъ вмѣсто сапогъ, и прошуршала, какъ мышь.

«Егоръ Семенычъ, должно-быть»,—подумалъ я.

Я смотрѣлъ на мать и дочь вмѣстѣ: обѣ онѣ страшно постарѣли и осунулись. Голова матери отливала серебромъ, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лѣтъ на пять, не больше.

— Я собираюсь съѣздить къ предводителю,—сказала мнѣ старуха, забывши, что уже говорила объ этомъ.—Хочу жаловаться! Егоръ Семенычъ забираетъ у насъ все, что мы нашиваемъ, и куда-то жертвуетъ за спасеніе души. Моя Манечка осталась безъ приданого!

Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.

— Приходится все снова шить, а вѣдь мы не Богъ знаетъ какія богачки! Мы съ ней сироты!

— Мы сироты!—повторила Манечка.

Въ прошломъ году судьба опять забросила меня въ знакомый домикъ. Войдя въ гостиную, я увидѣлъ старушку Чикамасову. Она, одѣтая во все черное, съ плерезами, сидѣла на диванѣ и шила что-то. Рядомъ съ ней сидѣлъ старичокъ въ коричневомъ сюртукѣ и въ калошахъ вмѣсто сапогъ. Увидѣвъ меня, старичокъ вскочилъ и побѣжалъ вонъ изъ гостиной...

Въ отвѣтъ на мое привѣтствіе старушка улыбнулась и сказала:

— Je suis charmée de vous revoir, monsieur.

— Что вы шьете?—спросилъ я, немного погодя.

— Это рубашечка. Я сошью и отнесу къ батюшкѣ спрятать, а то Егоръ Семенычъ унесетъ. Я теперь все прячу у батюшки,—сказала она шопотомъ.

И взглянувъ на портретъ дочери, стоявшій передъ ней на столѣ, она вздохнула и сказала:

— Вѣдь мы сироты!

А гдѣ же дочь? Гдѣ же Манечка? Я не спрашивалъ; не хотѣлось спрашивать старушку, одѣтую въ глубокой трауръ, и пока я сидѣлъ въ домикѣ и потомъ уходилъ, Манечка не вышла ко мнѣ, я не слышалъ ни ея голоса, ни ея тихихъ, робкихъ шаговъ... Было все понятно и было такъ тяжело на душѣ.

.....

СВАДЬБА.

Шаферъ въ цилиндрѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ, запыхавшись, сбрасываетъ въ передней пальто и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сообщить что-то страшное, вбѣгаетъ въ залъ.

— Женихъ уже въ церкви! — объявляетъ онъ, тяжело переводя духъ.

Наступаетъ тишина. Всѣмъ вдругъ становится грустно.

Отецъ невѣсты, отставной подполковникъ, съ тощимъ, испитымъ лицомъ, чувствуя, вѣроятно, что его купая, военная фигурка въ рейтузахъ недостаточно торжественна, солидно надуваетъ щеки и выпрямляется. Онъ беретъ со столика образъ. Его жена, маленькая старушка въ тюлевомъ чепцѣ съ широкими лентами, беретъ хлѣбъ-соль и становится рядомъ съ нимъ. Начинается благословеніе.

Невѣста Любочка безшумно, какъ тѣнь, опускается передъ отцомъ на колѣни, и ея фата волнуется при этомъ и цѣпляется, за цвѣты, разбросанные по платью, и изъ прически выбивается нѣсколько шпилекъ. Поклонившись образу и поцѣловавшись съ отцомъ, который еще сильнѣе надуваетъ щеки, Любочка опускается передъ матерью; фата ея опять цѣпляется, и двѣ барышни, взволнованныя, подбѣгаютъ къ ней, обдергиваютъ, поправляютъ, прикалываютъ булавками...

Тишина, всѣ молчатъ, не шевелятся; только одни шафера, какъ горячія пристяжныя, нетерпѣливо переминаются съ ноги на ногу, точно ждуть, когда имъ позволено будетъ сорваться съ мѣста.

— Кто повезетъ образъ? — слышится тревожный шопоть. — Спира, гдѣ ты? Спира!

— Цичась! — отвѣчаетъ изъ передней дѣтскій голосъ.

— Богъ съ вами, Дарья Даниловна! — кто-то вполголоса утѣшаетъ старуху, которая припала къ дочери лицомъ и всхлипываетъ. — Да развѣ можно плакать, Христось съ вами? Надо радоваться, душенька, а не плакать.

Благословеніе кончается. Любочка, блѣдная, такая торжественная, строгая на видъ, цѣлуется со своими подругами, и послѣ этого всѣ съ шумомъ, толкая другъ друга, устремляются въ переднюю. Шафера съ тревожной снѣжкой, крича безъ всякой надобности «pardon», одѣваютъ невѣсту.

— Любочка, дай я на тебя хоть еще разочекъ посмотрю! — стонетъ старуха.

— Ахъ, Дарья Даниловна! — вздыхаетъ кто-то укоризненно. — Радоваться надо, а вы это Богъ знаетъ что выдумали...

— Спира! Да гдѣ же ты? Спира! Наказаніе съ этимъ мальчишкой! Иди впередъ!

— Цичась!

Одинъ изъ шаферовъ беретъ шлейфъ невѣсты, и процессія начинается спускаться внизъ. На перилахъ лѣстницы и на косякахъ всѣхъ дверей виснутъ чужія горничныя и няньки; онѣ пожираютъ глазами невѣсту, слышится ихъ одобрительное жужжанье. Въ заднихъ рядахъ раздаются тревожные голоса: кто-то что-то забылъ, у кого-то невѣстивнъ букетъ; дамы взвизгиваютъ, умоляя не дѣлать чего-то, потому что «примѣта есть».

У подъѣзда уже давно ждуть карета и коляска. На лошадиныхъ гривахъ бумажные цвѣты и у всѣхъ кучеровъ руки перевязаны около плечъ цвѣтными платками. На козлахъ кареты сидитъ чудо-богатырь съ широкой окладистой бородой, въ новомъ кафтанѣ. Его протянутыя впередъ руки съ сжатыми кулаками, откинутаая назадъ голова, необычайно широкія плечи, придаютъ ему не человѣческій, не живой видъ; весь онъ точно окаменѣлъ...

— Тпррр!—говорить онъ тонкимъ голосомъ и тотчасъ же добавляетъ густымъ басомъ:—шалишь! (отчего и кажется, что въ его широкой шеѣ два горла).—Тпррр! Шалишь!

Улица по обѣ стороны запружена публикой.

— Пода-ай! — кричатъ шафера, хотя подавать нечего, такъ какъ карета давно уже подана. Спира съ образомъ, невѣста и двѣ подруги садятся въ карету. Дверца хлопаетъ, и улица оглашается грохотомъ кареты.

— Коляску шаферамъ! пода-ай!

Шафера прыгаютъ въ коляску и, когда она трогается съ мѣста, приподнимаются и, корчась какъ въ судорогахъ, натягиваютъ на себя свои пальто. Подаются слѣдующіе экипажи.

— Софья Денисовна, садитесь!—слышатся голоса.—Пожалуйте и вы, Николай Миронычъ! Тпррр! Не безпокойтесь, барышня, всѣмъ будетъ мѣсто! Берегись!

— Слышишь, Макаръ! — кричитъ отецъ невѣсты. — Назадъ изъ церкви поѣзжайте другой дорѳгой! Примѣта есть!

Экипажи гремятъ по мостовой, шумъ, крики... Наконецъ, всѣ уѣхали, стало опять тихо. Отецъ невѣсты возвращается въ домъ; въ залѣ лакеи убираютъ столъ, въ сосѣдней темной комнаткѣ, которую всѣ въ домѣ называютъ «проходной», сморкаются музыканты, всюду суета, бѣготня, но ему кажется, что въ домѣ пусто. Солдаты-музыканты копошатся въ своей маленькой, темной комнаткѣ, все никакъ не могутъ помѣститься со своими громоздкими люлитрами и инструментами. Пришли они недавно, но уже воздухъ въ «проходной» сталъ замѣтно гуще, нѣтъ никакой возможности дышать. Ихъ «старшій» Осиповъ, у котораго отъ старости усы и бакены сбились въ паклю, стоитъ передъ пюпитромъ и сердито глядитъ въ ноты.

— А тебѣ, Осиповъ, снесу нѣтъ: — говоритъ подполковникъ.—Сколько лѣтъ я тебя уже знаю? Лѣтъ двадцать!

— Больше, ваше высокоблагородіе. На вашей свадьбѣ играли, ежели изволите помнить.

— Да, да...—вздыхаетъ подполковникъ и задумывается.—Такая брать исторія... Сыновей, слава Богу, женилъ, теперь вотъ дочку выдаю, и остаемся мы со старухой сироты... Нѣту у насъ теперь дѣтокъ. На чистоту раздѣлались.

— Кто знает? Можетъ, Ефимъ Петровичъ, вамъ Богъ еще пошлетъ, ваше высокоблагородіе...

Ефимъ Петровичъ съ удивленіемъ глядитъ на Осипова и смѣется въ кулакъ.

— Еще?—спрашиваетъ онъ.—Какъ ты сказалъ? Дѣтей еще Богъ пошлетъ? Мнѣ-то?

Онъ давится отъ смѣха, и слезы у него выступаютъ на глазахъ; музыканты изъ вѣжливости тоже смѣются. Ефимъ Петровичъ ищетъ глазами старуху, чтобы сообщить ей, что сказалъ Осиповъ, но она сама уже летитъ прямо на него, стремительно, сердитая, съ заплаканными глазами.

— Бога ты не боишься, Ефимъ Петровичъ!—говоритъ она, всплескивая руками.— Мы ищемъ, ищемъ ромъ, съ ногъ сбились, а ты тутъ стоишь! Гдѣ ромъ? Николай Миронычъ не можетъ безъ рома, а тебѣ горюшка мало! Поди, узнай у Игната, куда онъ ромъ поставилъ!

Ефимъ Петровичъ идетъ въ подвальный этажъ, гдѣ помѣщается кухня. По грязной лѣстницѣ снуютъ бабы и лакеи. Молодой солдатъ, пакинувъ мундиръ на одно плечо, уперся колѣномъ о ступень и вертитъ мороженницу; потъ течетъ съ его краснаго лица. Въ темной и тѣсной кухнѣ, въ облакахъ дыма, работаютъ повара, взятые напрокатъ изъ клуба. Одинъ потрошитъ каплуна, другой дѣлаетъ изъ морковки звѣздочки, третій, красный какъ кумачъ, суетъ въ печь противень. Ножи стучатъ, посуда звенитъ, масло шипитъ. Попавъ въ этотъ адъ, Ефимъ Петровичъ забываетъ, о чемъ говорила ему старуха.

— А вамъ здѣсь, братцы, не тѣсно?—спрашиваетъ онъ.

— Ничего-съ, Ефимъ Петровичъ. Въ тѣснотѣ да не въ обидѣ, будьте покойны-съ...

— Ужъ вы постарайтесь, ребята.

Въ темномъ углу вырастаетъ фигура Игната, буфетчика изъ клуба.

— Будьте покойны-съ, Ефимъ Петровичъ!—говоритъ онъ.—Все предоставимъ въ лучшемъ видѣ. Съ чѣмъ прикажете дѣлать мороженое: съ ромомъ, съ го-сотерномъ или безъ ничего?

Вернувшись въ комнаты, Ефимъ Петровичъ долго слоняется по комнатамъ, потомъ останавливается въ дверяхъ «проходной» и опять заводитъ разговоръ съ Осиповымъ.

— Такъ-то, братъ...—говорить онъ.—Сиротами остаемся. Покуда новый домъ не высохнетъ, молодые съ нами поживутъ, а тамъ прощайте! Только мы ихъ и видѣли...

Оба вздыхаютъ... Музыканты изъ вѣжливости тоже вздыхаютъ, отчего воздухъ становится еще гуще.

— Да, братъ,—вяло продолжаетъ Ефимъ Петровичъ: — была одна дочка, да и ту отдаемъ. Человѣкъ онъ образованный, говоритъ по-французки... Только вотъ попиваетъ, но кто нынче не пьетъ? Всѣ пьютъ.

— Это ничего, что пьетъ,—говорить Осиповъ.—Главное достоинство, Ефимъ Петровичъ, чтобы дѣло свое помнилъ. А ежели, положимъ, выпить, то почему не выпить? Выпить можно.

— Конечно, можно.

Слышится всхлипыванье.

— Развѣ онъ можетъ чувствовать?—жалуется Дарья Даниловна какой-то старухѣ.—Вѣдь мы ему, мать моя, отсчитали десять тысячъ копейка въ копейку, домъ на Любочку записали, десятинь триста земли... легко ли сказать? А нешто онъ можетъ чувствовать? Не таковскіе они нынче, чтобы чувствовать.

Столъ съ фруктами уже готовъ. Бокалы тѣсно стоятъ на двухъ подносахъ, бутылки съ шампанскимъ завернуты въ салфетки, въ столовой шипятъ самовары. Лакей безъ усовъ, съ бакенами записываетъ на бумажкѣ имена лицъ, здоровье которыхъ онъ будетъ провозглашать за ужиномъ, и читаетъ ихъ, точно учитъ наизусть. Изъ комнатъ выгоняютъ чужую собаку. Напряженное ожиданіе... Но вотъ раздаются тревожные голоса:

— Ъдутъ! Ъдутъ! Батюшка Ефимъ Петровичъ, ѡдутъ!

Старуха, обомлѣвшая, съ выраженіемъ крайней растерянности, хватаетъ хлѣбъ-соль, Ефимъ Петровичъ надуваетъ щеки, и оба вмѣстѣ спѣшатъ въ переднюю. Музыканты сдержанно, торопливо настраиваютъ инструменты, съ улицы доносится шумъ экипажей. Опять вошла со двора собака, ее гонять, она взвизгиваетъ... Еще одна минута ожиданія—и въ «проходной», рѣзко, остервенѣло рванувъ, раздастся оглушительный, дикій, неистовый маршъ. Воздухъ оглашается восклицаніями, поцѣлуями, хлопаютъ пробки, у лакеевъ лица строгія...

Любочка и ея супругъ, солидный господинъ въ золотыхъ

откахъ, ошеломлены. Оглушительная музыка, яркій свѣтъ, всеобщее вниманіе, масса незнакомыхъ лицъ угнетаютъ ихъ... Они тупо глядятъ по сторонамъ, ничего не видятъ, ничего не понимаютъ.

Пьютъ шампанское и чай, все идетъ чинно и степенно. Многочисленные родственники, какіе-то необыкновенные дѣдушки и бабушки, которыхъ раньше никто никогда не видѣлъ, духовенство, отставные военные съ плоскими за-тылками, посаженые отецъ и мать жениха, крестные, стоятъ около стола и, осторожно прихлебывая чай, бесѣдуютъ о Болгаріи; барышни, какъ мухи, жмутся у стѣнъ; даже шафера утратили свой безпокойный видъ и стоятъ смиренно у дверей.

Но проходить часть-другой, и весь домъ дрожить уже отъ музыки и танцевъ. У шаферовъ опять такой видъ, точно они съ цѣпи сорвались. Въ столовой, гдѣ покоемъ накрытъ закусочный столъ, толпятся старики и нетанцующая молодежь; Ефимъ Петровичъ, выпившій уже рюмокъ пять, подмигиваетъ, щелкаетъ пальцами и давится отъ смѣха. Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шаферовъ, и это ему нравится, кажется остроумнымъ, забавнымъ, и онъ радъ, такъ радъ, что не можетъ выразить на словахъ, а только хохочетъ... Его жена, не ѣвшая ничего съ утра и опьянѣвшая отъ шампанскаго, блаженно улыбается и говорить всѣмъ:

— Нельзя, нельзя, господа, въ спальню ходить! Это не деликатно въ спальню ходить. Не заглядывайте!

Это значитъ: пожалуйте поглядѣть спалю! Все ея материнское тщеславіе и всѣ таланты ушли въ эту спальню. И есть чѣмъ похвастать! Посреди спальни стоятъ двѣ кровати съ высокими постелями; наволочки кружевные, одѣяла шелковые, стеганныя, съ мудреными, непонятными вензелями. На постели Любочки лежитъ чепчикъ съ розовыми лентами, а на постели ея мужа плафрокъ мышиннаго цвѣта съ голубыми кистями. Каждый изъ гостей, взглянувъ на постели, считаетъ своимъ долгомъ значительно подмигнуть глазомъ и сказать «м-да-а», а старуха сіяетъ и говорить шопотомъ:

— Спальня-то рублей триста стояла, батюшка. Шутка ли! Ну, уходите, мужчинамъ не годится сюда ходить.

Въ третьемъ часу подають ужинъ. Лакей съ бакенами

провозглашает тосты, а музыка играет тушь. Ефимъ Петровичъ напивается окончательно и уже никого не узнаетъ; ему кажется, что онъ не у себя дома, а въ гостяхъ, что его обидѣли; онъ въ передней надѣваетъ пальто и шапку и, отыскивая свои калоши, кричитъ хриплымъ голосомъ:

— Не желаю я тутъ больше оставаться! Вы всѣ подлецы! Негодяи! Я васъ выведу на чистую воду!

А возлѣ стоитъ жена и говорить ему:

— Уймись, безбожная твоя душа! Уймись, истуканъ, продь, наказаніе мое!

ТЕМНОТА.

Молодой парень, бѣлобрысый и скуластый, въ рваномъ тулупчикѣ и въ большихъ, черныхъ валенкахъ, выждалъ, когда земскій докторъ, кончивъ приемку, возвращался изъ больницы къ себѣ на квартиру, и подошелъ къ нему несмѣло.

— Къ вашей милости,—сказалъ онъ.

— Что тебѣ?

Парень ладонью провелъ себѣ по носу снизу вверхъ, поглядѣлъ на небо и потомъ уже отвѣтилъ:

— Къ вашей милости... Тутъ у тебя, вашекоблородіе, въ арестанской палатѣ мой братъ Васька, кузнецъ изъ Варварина...

— Да, такъ что же?

— Я, стало-быть, Васькинъ братъ... У отца насъ двое: онъ—Васька, да я—Кирила. Акромя насъ три сестры, а Васька женатый и ребяенокъ есть... Народу много, а работать некому... Въ кузницѣ, почитай, уже два года огня не раздували. Самъ я на ситцевой фабрицѣ, кузнечить не умѣю, а отецъ какой работникъ? Не токмо, скажемъ, работать, путемъ ѣсть не можетъ, ложку мимо рта несетъ.

— Что же тебѣ отъ меня нужно?

— Сдѣлай милость, отпусти Ваську!

Докторъ удивленно поглядѣлъ на Кирилу и, ни слова не сказавши, пошелъ дальше. Парень забѣжалъ впередъ и бухнулъ ему въ ноги.

— Докторъ, господинъ хорошиѣ!—взмолился онъ, моргая глазами и опять проводя ладонью по носу.—Яви божескую

милость, отпусти ты Ваську домой! Заставь вѣчно Бога молить! Ваше благородіе, отпусти! Съ голоду всёдохнуть! Мать день-деньской реветь, Васькина баба реветь... просто смерть! На свѣтъ бѣлый не глядѣль бы! Сдѣлай милость, отпусти его, господинь хорошій!

— Да ты глупъ, или съ ума сошелъ?—спросилъ докторъ, глядя на него сердито. — Какъ же я могу его отпустить? Вѣдь онъ арестантъ!

Кирила заплакалъ.

— Отпусти!

— Тыфу, чудакъ! Какое же я имѣю право? Тюремщикъ я, что ли? Привели его ко мнѣ въ больницу лѣчиться, я лѣчу, а отпускать его я имѣю такое же право, какъ тебя засадить въ тюрьму. Глупая голова!

— Да вѣдь его задаромъ посадили! Покуда до суда онъ, почитай, годъ въ острогѣ сидѣль, а теперь, спрашивается, за что сидитъ? Добра бы, убиваль, скажемъ, или коней красть, а то такъ попалъ, здорово-живешь.

— Вѣрно, но я-то тутъ при чемъ?

— Посадили мужика и сами не знаютъ, за что. Былъ онъ выпивши, ваше благородіе, ничего не помнилъ и даже отца по уху урѣзалъ, щеку себѣ напоролъ на сукъ спьянато, а двое нашихъ ребятъ—захотѣлось имъ, видишь, турецкаго табаку—стали ему говорить, чтобы онъ съ ними ночью въ армяшкину лавку забрался, за табакомъ. Онъ спьянато послушался, дуракъ. Сломали они это, знаешь, замокъ, забрались и давай чертить. Все разворочали, стекла побили, муку рассыпали. Пьяные—одно слово! Ну, сейчасъ урядникъ... то да сѣ, къ слѣдователю. Годъ цѣльный въ острогѣ сидѣли, а недѣлю назадъ, въ среду, судили всѣхъ трехъ, въ городѣ. Солдатъ сзади съ ружьемъ... присягаль народъ. Васька-то всѣхъ меньше виновать, а господя такъ разсудили, что онъ первый коноводъ. Обоихъ ребятъ въ острогъ, а Ваську въ арестанскую роту на три года. А за что? Разсуди по-божецки!

— Опять-таки я тутъ ни при чемъ. Ступай къ начальству.

— Я уже былъ у начальства! Ходилъ въ судъ, хотѣлъ прошеніе подать, они и прошенія не взяли. Былъ я и у становаго, и у слѣдователя былъ, и всякій говорить: не

мое дѣло! Чье-жъ дѣло? А въ больницѣ тутъ старшій тебѣ нѣтъ. Что хочешь, ваше благородіе, то и дѣлаешь.

— Дуракъ ты! — вздохнулъ докторъ. — Разъ присяжные обвинили, то ужъ тутъ не можетъ ничего подѣлать ни губернаторъ, ни даже министръ, а не то что становой. Напрасно хлопчешь!

— А судиль-то кто?

— Господа присяжные засѣдатели...

— Какіе же это господа? Наши же мужики были! Андрей Гурьевъ былъ, Аленька Хукъ былъ.

— Ну, мнѣ холодно съ тобой разговаривать...

Докторъ махнулъ рукой и быстро пошелъ къ своей двери. Кирила хотѣлъ-было пойти за нимъ, но, увидѣвъ, какъ хлопнула дверь, остановился. Минуть десять стоялъ онъ неподвижно среди больничнаго двора и, не надѣвая шапки, глядѣлъ на докторскую квартиру, потомъ глубоко вздохнулъ, медленно почесался и пошелъ къ воротамъ.

— Къ кому же идти? — бормоталъ онъ, выходя на дорогу. — Одинъ говоритъ — не мое дѣло, другой говоритъ — не мое дѣло. Чье же дѣло? Нѣтъ, вѣрно, пока не подмажешь, ничего не подѣлаешь. Докторъ-то говоритъ, а самъ все время на кулакъ мнѣ глядитъ: не дамъ ли синенькую? Ну, братъ, я и до губернатора дойду.

Переминаясь съ ноги на ногу, то и дѣло оглядываясь безъ всякой надобности, онъ лѣниво плелся по дорогѣ и, повидимому, раздумывалъ, куда идти... Было не холодно и снѣгъ слабо поскрипывалъ у него подъ ногами. Передъ нимъ, не дальше какъ въ полуверстѣ, разстилался на холмѣ уфадный городишко, въ которомъ недавно судили его брата. Направо темнѣлъ острогъ съ красной крышей и съ будками по угламъ, налѣво была большая городская роща, теперь покрытая инеемъ. Было тихо, только какой-то старикъ въ бабьей кацавейкѣ и въ громадномъ картузѣ шелъ впереди, кашлялъ и цокрикивалъ на корову, которую гналъ къ городу.

— Дѣдъ, здорово! — проговорилъ Кирила, поровнявшись со старикомъ.

— Здорово...

— Продавать голяшь?

— Нѣтъ, такъ... — лѣниво отвѣтилъ старикъ.

— Мѣщанинъ, что ли?

Разговорились. Кирила рассказалъ, зачѣмъ онъ былъ въ больницѣ и о чемъ говорилъ съ докторомъ.

— Оно, конечно, докторъ этихъ дѣловъ не знаетъ,—говорилъ ему старикъ, когда оба они вошли въ городъ.—Онъ хоть и баринъ, но обученъ лѣчить всякими средствіями, а чтобъ совѣтъ настоящей тебѣ дать, или, скажемъ, протоколъ написать,—онъ этого не можетъ. На то особое начальство есть. У мирового и становаго ты былъ. Эти тоже въ твоёмъ дѣлѣ не способны.

— Куда-жъ идти?

— По вашимъ крестьянскимъ дѣламъ самый главный и къ этому приставленъ непремѣнный членъ. Къ нему и иди. Господинъ Синеоковъ.

— Это что въ Золотовѣ?

— Ну, да, въ Золотовѣ. Онъ у васъ главный. Ежели что по вашимъ дѣламъ касающее, то супротивъ него даже исправникъ не имѣетъ полнаго права.

— Далече, братъ, идти!.. Чай, версть пятнадцать, а то и больше.

— Кому надобность, тотъ и сто версть пройдетъ.

— Оно такъ... Прошеніе ему подать, что ли?

— Тамъ узнаешь. Коли прошеніе, писарь тебѣ живо напишетъ. У непремѣннаго члена есть писарь.

Разставшись съ дѣдомъ, Кирила постоялъ среди площади, подумалъ и пошелъ назадъ изъ города. Онъ рѣшилъ сходить въ Золотово.

Дней черезъ пять, возвращаясь послѣ пріемки больныхъ къ себѣ на квартиру, докторъ опять увидѣлъ у себя на дворѣ Кирилу. На этотъ разъ парень былъ не одинъ, а съ какимъ-то тощимъ, очень блѣднымъ старикомъ, который, не переставая, кивалъ головой, какъ маятникомъ, и шамкалъ губами.

— Ваше благородіе, я опять къ вашей милости!—началъ Кирила.—Вотъ съ отцомъ пришелъ, сдѣлай милость, отпусти Ваську! Непремѣнный членъ разговаривать не сталъ. Говорить: «Пошелъ вонъ!»

— Ваше высокородіе!—зашипѣлъ горломъ старикъ, поднимая дрожащія брови:—будьте милостивы! Мы люди бѣдные, благодарить не можемъ вашу честь, но ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать могутъ. Пушай работаютъ.

— Отработаемъ!—сказалъ Кирила и поднялъ руку, точно желая принести клятву.—Отпусти! Съ голодудохнуть! Ревматизмъ, ваше благородіе!

Парень быстро взглянулъ на отца, дернулъ его за рукавъ и оба они, какъ по командѣ, повалились доктору въ ноги. Тотъ махнулъ рукой и, не оглядываясь, быстро пошелъ къ своей двери.

МЫСЛИТЕЛЬ.

Знойный полдень. Въ воздухѣ ни звуковъ, ни движеній... Вся природа похожа на одну очень большую, забытую Богомъ и людьми, усадьбу. Подъ опустившейся листвою старой липы, стоящей около квартиры тюремнаго смотрителя Яшкина, за маленькимъ треногимъ столомъ сидятъ самъ Яшкинъ и его гость, штатный смотритель уѣзднаго училища Пимфовъ. Оба безъ сюртуковъ; жилетки ихъ разстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность ихъ выражать что-нибудь парализована зноемъ... Лицо Пимфова совсѣмъ скисло и заплыло лѣвню, глаза его посоловѣли, нижняя губа отвисла. Въ глазахъ же и на лбу у Яшкина еще замѣтна кое-какая дѣятельность; повидимому, онъ о чемъ-то думаетъ... Оба глядятъ другъ на друга, молчатъ и выражаютъ свои мученія пыхтѣньемъ и хлопаньемъ ладонями по мухамъ. На столѣ графинъ съ водкой, мочалистая вареная говядина и лоробка изъ-подъ сардинъ съ сѣрой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья...

— Да-съ!—издаетъ вдругъ Яшкинъ, и такъ неожиданно, что собака, дремлющая недалеко отъ стола, вздрагиваетъ и, поджавъ хвостъ, бѣжитъ въ сторону.— Да-съ! Что ни говорите, Филиппъ Максимычъ, а въ русскомъ языкѣ очень много лишнихъ знаковъ препинанія!

— То-есть, почему же-съ?—скромно вопрошаетъ Пимфовъ, вынимая изъ рюмки крылышко мухи.—Хотя и много знаковъ, но каждый изъ нихъ имѣетъ свое значеніе и мѣсто.

— Ужъ это вы оставьте. Никакого значенія не имѣютъ

ваши знаки. Одно только мудрованіе... Наставить десятокъ запятыхъ въ одной строчкѣ и думаетъ, что онъ умный. Напримѣръ, товарищъ прокурора Мериновъ послѣ каждаго слова запятую ставитъ. Для чего это? Милостивый государь—запятая, посѣтивъ тюрьму такого-то числа—запятая, я замѣтилъ—запятая, что арестанты—запятая... тьфу! Въ глазахъ рябитъ! Да и въ книгахъ то же самое... Точка съ запятой, двоеточіе, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франтъ, мало ему одной точки, возьметъ и натыкаетъ ихъ цѣлый рядъ... Для чего это?

— Наука того требуетъ...—вздыхаетъ Пимфовъ.

— Наука... Умопомраченіе, а не наука... Для форсу выдумали... пыль въ глаза пущать... Напримѣръ, ни въ одномъ иностранномъ языкѣ нѣтъ этого ять, а въ Россіи есть... Для чего онъ, спрашивается? Напиши ты хлѣбъ съ ятемъ или безъ ятя, нешто не все равно?

— Богъ знаетъ, что вы говорите, Илья Мартынычъ!—обижается Пимфовъ.—Какъ же это можно хлѣбъ черезъ е писать? Такое говорить, что слушать даже неприятно.

Пимфовъ выпиваетъ рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачиваетъ лицо въ сторону.

— Да и сѣкли же меня за этотъ ять!—продолжаетъ Яшкинъ.—Помню это, вызываетъ меня разъ учитель къ черной доскѣ и диктуетъ: «Лѣкаръ уѣхалъ въ городъ». Я взялъ и написалъ *лѣкаръ* съ *е*. Выпоролъ. Черезъ недѣлю опять къ доскѣ, опять пиши: «Лѣкаръ уѣхалъ въ городъ». Пишу на этотъ разъ съ ятемъ. Опять пороть. За что же, Иванъ Ѳомичъ? Помилуйте, сами же вы говорили, что тутъ ять нужно! «Тогда, говоритъ, я заблуждался, прочитавъ же вчера сочиненіе нѣкоего академика о ять въ словѣ *лѣкаръ*, соглашаюсь съ академіей наукъ. Порю же я тебя по долгу присяги»... Ну, и поролъ. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши отъ этого ять... Будь я министромъ, запретилъ бы я вашему брату ятемъ людей морочить.

— Прощайте,—вздыхаетъ Пимфовъ, моргая глазами и надѣвая сюртукъ.—Не могу я слышать, ежели про науки...

— Ну, ну, ну... ужъ и обидѣлся!—говоритъ Яшкинъ, хватая Пимфова за рукавъ.—Я вѣдь это такъ, для разговора только... Ну, сядемъ, выпьемъ!

Оскорбленный Пимфовъ садится, выпиваетъ и отворачиваетъ лицо въ сторону. Наступаетъ тишина. Мимо пью-

щихъ кухарка Θεона проноситъ лохань съ помоями. Слышится помойный плескъ и визгъ облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисаетъ еще больше; вотъ-вотъ растаетъ отъ жары и потечетъ внизъ на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Онъ сосредоточенно глядитъ на мочалистую говядину и думаетъ... Подходить къ столу инвалидъ, угрюмо косится на графинъ и, увидѣвъ, что онъ пустъ, приноситъ новую порцію... Еще выпиваютъ.

— Да-съ!—говоритъ вдругъ Яшкинъ.

Пимфовъ вздрагиваетъ и съ испугомъ глядитъ на Яшкина. Онъ ждетъ отъ него новыхъ ересей.

— Да-съ!—повторяетъ Яшкинъ, задумчиво глядя на графинъ.—По моему мнѣнiю, и наукъ много лишнiихъ!

— То-есть, какъ же это-съ? — тихо спрашиваетъ Пимфовъ.—Какiя науки вы находите лишними?

— Всякiя... Чѣмъ больше наукъ знаетъ человѣкъ, тѣмъ больше онъ мечтаетъ о себѣ. Гордости больше... Я бы перевѣшалъ всѣ эти... науки... Ну, ну... ужъ и обидѣлся! Экай какой, ей-Богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядемъ, выпьемъ!

Подходитъ Θεона и, сердито тыкая въ стороны своими пухлыми локтями, ставитъ передъ прiателями зеленыя щи въ мискѣ. Начинается громкое хлебанiе и чавканье. Словно изъ земли вырастаютъ три собаки и кошка. Онѣ стоятъ передъ столомъ и умильно поглядываютъ на жующие рты. За щами слѣдуетъ молочная каша, которую Θεона ставитъ съ такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Передъ кашей прiатели молча выпиваютъ.

— Все на этомъ свѣтѣ лишнее! — замѣчаетъ вдругъ Яшкинъ.

Пимфовъ роняетъ на колѣни ложку, испуганно глядитъ на Яшкина, хочетъ протестовать, но языкъ ослабѣлъ отъ хмеля и запутался въ густой кашѣ... Вмѣсто обычнаго «то-есть, какъ же это-съ?» получается одно только мычанiе.

— Все лишнее... — продолжаетъ Яшкинъ.—И науки, и люди... и тюремныя заведенiя, и мухи... и каша... И вы лишнiи... Хотя вы и хорошiй человѣкъ, и въ Бога вѣруете, но и вы лишнiи...

— Прощайте, Илья Мартынычъ! — лепечетъ Пимфовъ, сiясь надѣть сюртукъ и никакъ не попадая въ рукава.

— Сейчасъ вотъ мы натрескались, налопались,—а для

чего это? Такъ... Все это лишнее... Ёдимъ, и сами не знаемъ, для чего... Ну, ну... ужъ и обидѣлся! Я вѣдь это такъ только... для разговора! И куда вамъ идти? Посидимъ, потолкуемъ... выпьемъ!

Наступаетъ тишина, изрѣдка только прерываемая звяканьемъ рюмокъ, да пьянымъ побрякиваньемъ... Солнце начинаетъ ужъ клониться къ западу, и тѣнь липы все растеть и растеть. Приходитъ Феона и, фыркая, рѣзко махая руками, разстиляетъ около стола коврикъ. Пріятели молча вышиваютъ по послѣдней, располагаются на коврѣ и, повернувшись другъ къ другу спинами, начинаютъ засыпать...

«Слава Богу,—думаетъ Пимфовъ:—сегодня не дошелъ до сотворенія міра и іерархіи, а то бы волосы дыбомъ, хоть святыхъ выноси...»

ДОЧЬ АЛЬБИОНА.

Къ дому помѣщика Грябова подкатила прекрасная коляска съ каучуковыми шинами, толстымъ кучеромъ и бархатнымъ сидѣнемъ. Изъ коляски выскочилъ уѣздный предводитель дворянства Ѳедоръ Андреевичъ Отцовъ. Въ передней встрѣтилъ его сонный лакей.

— Господа дома?—спросилъ предводитель.

— Никакъ нѣтъ-съ. Барыня съ дѣтьми въ гости поѣхали, а баринъ съ мамзелью-гувернаткой рыбу ловять-съ. Съ самаго утра-съ.

Отцовъ постоялъ, подумалъ и пошелъ къ рѣкѣ искать Грябова. Нашелъ онъ его версты за двѣ отъ дома, подойдя къ рѣкѣ. Поглядѣвъ внизъ съ крутого берега и увидѣвъ Грябова, Отцовъ прыснулъ... Грябовъ, большой, толстый человекъ съ очень большою головою, сидѣлъ на песочкѣ, поджавъ подъ себя по-турецки ноги, и удилъ. Шляпа у него была на затылкѣ, галстукъ сползъ на бокъ. Возлѣ него стояла высокая, тонкая англичанка съ выпуклыми рачьими глазами и большимъ птичьимъ носомъ, похожимъ скорѣй на крючокъ, чѣмъ на носъ. Одѣта она была въ бѣлое кисейное платье, сквозь которое сильно просвѣчивали тощія, желтыя плечи. На золотомъ поясѣ висѣли золотыя часики. Она тоже удила. Вокругъ обонхъ царилъ гробовая тишина. Оба были неподвижны, какъ рѣка, на которой плавали ихъ поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая!—засмѣялся Отцовъ.—Здравствуй, Иванъ Кузьмичъ!

— А... это ты? — спросилъ Грябовъ, не отрывая глазъ отъ воды.—Прѣхаль?

— Какъ видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвыкъ еще?

— Кой чортъ... Весь день ловлю, съ утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймалъ ни я, ни эта кикимора. Сидимъ, сидимъ и хоть бы одинъ чортъ! Просто хоть карауль кричи.

— А ты наплюй. Пойдемъ водку пить!

— Постои... Можетъ-быть, что-нибудь да поймаетъ. Подъ вечеръ рыба клюетъ лучше... Сижу, братъ, здѣсь съ самаго утра! Такая скуцища, что и выразить тебѣ не могу. Дернулъ же меня чортъ привыкнуть къ этой ловлѣ! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, какъ подлецъ какой-нибудь, какъ каторжный, и на воду гляжу, какъ дуракъ какой-нибудь! На покось надо ѣхать, а я рыбу ловлю. Вчера въ Халоньевѣ преосвященный служилъ, а я не поѣхалъ, здѣсь просидѣлъ вотъ съ этой стерлядью... съ чертовкой съ этой...

— Но... ты съ ума сошелъ? — спросилъ Отцовъ, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при дамѣ... и ее же...

— Да чортъ съ ней! Все одно, ни белъмеса по-русски не смыслить. Ты ее хоть хвали, хоть брани—ей все равно! Ты на носъ посмотри! Отъ одного носа въ обморокъ упадешь! Сидимъ по цѣлымъ днямъ вмѣстѣ, и хоть бы одно слово! Стоитъ, какъ чучело, и бѣлмы на воду тарашить.

Англичанка зѣвнула, переменяла червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, братъ, я не мало! — продолжалъ Грябовъ. — Живетъ дурища въ Россіи десять лѣтъ, и хоть бы одно слово по-русски!.. Напѣ какой-нибудь аристократишка поѣдетъ къ нимъ и живо по-ихнему брехать научится, а они... чортъ ихъ знаетъ! Ты посмотри на носъ! На носъ ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напалъ на женщину?

— Она не женщина, а дѣвица... О женихахъ, небось, мечтаетъ, чортова кукла. И пахнетъ отъ нея какою-то гнилью... Возненавидѣлъ, братъ, ее! Видѣть равнодушно не могу! Какъ взглянетъ на меня своими глазами, такъ меня и покоробитъ всего, словно я локтемъ о перила ударился. Тоже любить рыбу ловить. Погляди: ловить и свя-

ценнодѣйствуетъ! Съ презрѣніемъ на все смотритъ... Стоитъ, канала, и сознаетъ, что она человѣкъ и что, стало-быть, она царь природы. А знаешь, какъ ее зовутъ? Уилька Чарльзовна Тфайсъ! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышавъ свое имя, медленно повела носъ въ сторону Грябова и измѣрила его презрительнымъ взглядомъ. Съ Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрѣніемъ. И все это молча, важно и медленно.

— Видалъ?—спросилъ Грябовъ, хохоча. — Натѣ, молъ, вамъ! Ахъ ты, кикимора! Для дѣтей только и держу этого тритона. Не будь дѣтей, я бы ее и за десять верстъ къ своему имѣнію не подпустилъ... Носъ точно у ястреба... А талія? Эта кукла напоминаетъ мнѣ длинный гвоздь. Такъ, знаешь, взялъ бы и въ землю вбилъ. Постою... У меня, кажется, клюетъ...

Грябовъ вскочилъ и поднялъ удилице. Леска натянулась... Грябовъ дернулъ еще разъ и не вытащилъ крючка.

— Зацѣпилась!—сказалъ онъ и поморщился. — За камень, должно-быть... Чортъ возьми...

На лицѣ у Грябова выразилось страданіе. Вдыхая, спокойно двигаясь и бормоча проклятыя, онъ началъ дергать за лесу. Дерганье ни къ чему не привело. Грябовъ поблѣднѣлъ.

— Экая жалость! Въ воду лѣзть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя... Подъ вечеръ хорошо ловится... Вѣдь этакая коммиссія, прости Господи! Придется лѣзть въ воду. Придется! А если бы ты зналъ, какъ мнѣ не хочется раздѣваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздѣваться. Все-таки, вѣдь, дама!

Грябовъ сбросилъ шляпу и галстукъ.

— Миссъ... э-э-э...—обратился онъ къ англичанкѣ. — Миссъ Тфайсъ! Же ву при... Ну, какъ ей сказать? Ну, какъ тебѣ сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышите?

Миссъ Тфайсъ облила Грябова презрѣніемъ и издала носовой звукъ.

— Что-съ? Не понимаете? Ступай, тебѣ говорятъ, отсюда! Мнѣ раздѣваться нужно, чортова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябовъ дернулъ миссъ за рукавъ, указалъ ей на кусты

и присѣлъ: ступай, молъ, за кусты и спрячься тамъ. Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную англійскую фразу. Помѣщики прыснули.

— Первый разъ въ жизни ея голосъ слышу... Нечего сказать, голосокъ! Не понимаетъ! Ну, что мнѣ дѣлать съ ней?

— Пльонь! Пойдемъ водки выпьемъ!

— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечерь... Ну, что ты прикажешь дѣлать? Вотъ комиссія! Придется при ней раздѣваться...

Грябовъ сбросилъ сюртукъ и жилетъ и сѣлъ на песокъ снимать сапоги.

— Послушай, Иванъ Кузьмичъ,—сказалъ предводитель, хохоча въ кулакъ.—Это ужъ, другъ мой, глумленіе, издѣвательство.

— Ее никто не просить не понимать! Это наука имъ, иностранцамъ!

Грябовъ снялъ сапоги, панталоны, сбросилъ съ себя бѣлье и очутился въ костюмѣ Адама. Отцовъ ухватился за животъ. Онъ покраснѣлъ и отъ смѣха, и отъ конфуза. Англичанка задвигала бровями и заморгала глазами... По желтому лицу ея пробѣжала надменная, презрительная улыбка.

— Надо остынуть, — сказалъ Грябовъ, хлопая себя по бедрамъ.—Скажи на милость, Федоръ Андреечъ, отчего это у меня каждое лѣто сынь на груди бываетъ?

— Да полѣзай скорѣй въ воду или прикройся чѣмъ-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая!—сказалъ Грябовъ, полѣзая въ воду и крестясь.—Брр... холодная вода... Посмотри, какъ бровями двигаетъ! Не уходитъ... Выше толпы стоитъ! Хе-хе-хе... И за людей насъ не считаетъ!

Войдя по-колѣна въ воду и вытянувшись во весь свой громадный ростъ, онъ мигнулъ глазомъ и сказалъ:

— Это, братъ, ей не Англія!

Миссъ Тфайсъ хладнокровно перемѣнила червячка, зѣвнула и закинула удочку. Отцовъ отвернулся. Грябовъ отцѣпилъ крючокъ, окунулся и съ сопѣньемъ вылѣзъ изъ воды. Черезъ двѣ минуты онъ сидѣлъ уже на песочкѣ и опять удилъ рыбу.

НА ЧУЖБИНѢ.

Воскресный полдень. Помѣщикъ Камышевъ сидитъ у себя въ столовой за роскошно сервированнымъ столомъ и медленно завтракаетъ. Съ нимъ раздѣляетъ трапезу чистенькій, гладко-выбритый старикъ-французикъ, m-r Шампунь. Этотъ Шампунь былъ когда-то у Камышева гувернеромъ, училъ его дѣтей манерамъ, хорошему произношенію и танцамъ, потомъ же, когда дѣти Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чѣмъ-то въ родѣ бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернера не сложны. Онъ долженъ прилично одѣваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, ѣсть, пить, спать—и больше, кажется, ничего. За это онъ получаетъ столь, комнату и неопредѣленное жалованье.

Камышевъ ѣсть и, по обыкновенію, празднословитъ.

— Смерть!—говоритъ онъ, вытирая слезы, выступившія послѣ куска ветчины, густо вымазаннаго горчицей.—Уф! Въ голову и во все суставы ударило. А вотъ отъ вашей французской горчицы не будетъ этого, хоть всю банку съѣшь.

— Кто любитъ французскую, а кто русскую...—кратко заявляетъ Шампунь.

— Никто не любитъ французской, развѣ только одни французы. А французу что ни подай—все съѣсть: и лягушку, и крысу, и таракановъ... брр! Вамъ, напимѣръ, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вамъ жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете ѣсть и причмокивать... По-вашему, все русское скверно.

— Я этого не говорю.

— Все русское скверно, а французское—о, сэ трэ жולי! По-вашему, лучше и страны нѣтъ, какъ Франція, а, по моему... ну, что такое Франція, говоря по совѣсти? Кусо-

чекъ земли! Пошли туда нашего исправника, такъ онъ черезъ мѣсяць же перевода запросить: повернутся лигдѣ! Вашу Францію всю въ одинъ день объѣздить можно, а у насъ выйдешь за ворота — конца краю не видно! Бдень, бдень...

— Да, monsieur, Россія громадная страна.

— То-то вотъ и есть! По-вашему, лучше французовъ и людей нѣтъ. Ученый, умный народъ! Цивилизація! Согласенъ, французы всѣ ученые, манерные... это вѣрно... Французъ никогда не позволитъ себѣ невѣжества: во-время дамъ стулъ подастъ, раковъ не станетъ ѣсть вилкой, не поклонеть на полъ, но... нѣтъ того духу! Духу того въ немъ нѣтъ! Я не могу только вамъ объяснить, но, какъ бы это выразиться, во французѣ не хватаетъ чего-то такого, итакого... (говорящій шевелитъ пальцами), чего-то такого... юридического. Я помню, читалъ гдѣ-то, что у васъ у всѣхъ умъ прибрѣтенный изъ книгъ, а у насъ умъ врожденный. Если русскаго обучить, какъ слѣдуетъ, наукамъ, то никакой вашъ профессоръ не сравняется.

— Можетъ быть... — какъ бы нехотя говорить Шампунь.

— Нѣтъ, не можетъ быть, а вѣрно! Печего морщиться, правду говорю! Русскій умъ — изобрѣтательный умъ! Только, конечно, ходу ему не дають, да и хвастать онъ не умѣетъ... Изобрѣтеть что-нибудь и поломасть, или же дѣтишкамъ отдасть поиграть, а вашъ французъ изобрѣтетъ какую-нибудь чопуху и на весь свѣтъ кричить. Намедни кучерь Иона сдѣлалъ изъ дерева челоуѣчка: дернешь это челоуѣчка за ниточку, а онъ и сдѣлаетъ непристойность. Однако же, Иона не хвастаетъ. Вообще... не нравятся мнѣ французы! Я про васъ не говорю, а вообще... Безнравственный народъ! Наружностью словно какъ бы и на людей походятъ, а живутъ какъ собаки... Взять хоть, напримѣръ, бракъ. У насъ коли женился, такъ приляпнись къ женѣ и никакихъ разговоровъ, а у васъ чортъ знаетъ что. Мужъ цѣлый день въ кафе сидитъ, а жена напуститъ полный домъ французовъ и давай съ ними канканировать.

— Это неправда! — не выдерживаетъ Шампунь, вспыхивая. — Во Франціи семейный принципъ стоитъ очень высоко!

— Знаемъ мы этотъ принципъ! А вамъ стыдно защищать. Надо безпристрастно: свиньи, такъ и есть свиньи...

Спасибо нѣмцамъ за то, что побили... Ей-Богу, спасибо. Дай Богъ имъ здоровья...

— Въ такомъ случаѣ, monsieur, я не понимаю,—говоритъ французъ, вскакивая и сверкая глазами:—если вы ненавидите французовъ, то зачѣмъ вы меня держите?

— Куда же мнѣ васъ дѣвать?

— Отпустите меня, и я уѣду во Францію!

— Что-о-о? Да нешто васъ пустятъ теперь во Францію? Вѣдь вы измѣнникъ своему отечеству! То у васъ Наполеонъ великій человѣкъ, то Гамбетта... самъ чортъ васъ не разбереть!

— Monsieur,—говоритъ по-французски Шампунъ, брызжа и комкая въ рукахъ салфетку.—Ваше оскорбленіе, которое вы нанесли сейчасъ моему чувству, не могъ бы придумать и врагъ мой! Все кончено!

И сдѣлавъ рукой трагическій жестъ, французъ манерно бросаетъ на столъ салфетку и съ достоинствомъ выходитъ.

Часа черезъ три на столѣ перемѣняется сервировка, и прислуга подаетъ обѣдъ. Камышевъ садится за обѣдъ одинъ. Послѣ предобѣденной рюмки у него является жажда празднословія. Поболтать хочется, а слушателя нѣтъ...

— Что дѣлаетъ Альфонсъ Людовиковичъ?—спрашиваетъ онъ лакея.

— Чемоданъ укладываютъ-съ.

— Экая дуррында, прости Господи!.—говоритъ Камышевъ и идетъ къ французу.

Шампунъ сидитъ у себя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладываетъ въ чемоданъ бѣлье, флаконы изъ-подъ духовъ, молитвенники, помочи, галстуки... Вся его приличная фигура, чемоданъ, кровать и столъ такъ и дышатъ изяществомъ и женственностью. Изъ его большихъ голубыхъ глазъ капаютъ въ чемоданъ крупныя слезы.

— Куда же это вы?—спрашиваетъ Камышевъ, постоявъ немного.

Французъ молчитъ.

— Уѣзжать хотите?—продолжаетъ Камышевъ.—Что жъ, какъ знаете... Не смѣю удерживать... Только вотъ что странно: какъ это вы безъ паспорта поѣдете? Удивляюсь! Вы знаете, я вѣдь потерялъ вашъ паспортъ. Сунулъ его куда-то между бумагаъ, онъ и потерялся... А у насъ насчетъ паспортовъ строго. Не успѣете и пяти верстъ проѣхать, какъ васъ сцарапаютъ.

Шампунь поднимаетъ голову и недовѣрчиво глядитъ на Камышева.

— Да... Вотъ увидите! Замѣтятъ по лицу, что вы безъ паспорта, и сейчасъ: кто таковъ? Альфонсъ Шампунь! Знаемъ мы этихъ Альфонсовъ Шампуней! А не угодно ли вамъ по этапу въ не столь отдаленныя!

— Вы это шутите?

— Съ какой стати мнѣ шутить! Очень мнѣ нужно! Только смотрите, условіе: не извольте потомъ хныкать и письма писать. И пальцемъ не пошевельну, когда васъ мимо въ кандалахъ проведутъ!

Шампунь вскакиваетъ и, блѣдный, широкоглазый, начинаетъ шагать по комнатѣ.

— Что вы со мной дѣлаете?! — говоритъ онъ, въ отчаяніи хватая себя за голову. — Боже мой! О, будь проклять тотъ часъ, когда мнѣ пришла въ голову пагубная мысль оставить отечество!

— Ну, ну, ну... я пошутилъ! — говоритъ Камышевъ, понизивъ тонъ. — Чудакъ какой, шутокъ не понимаетъ! Слова сказать нельзя!

— Дорогой мой! — взвизгиваетъ Шампунь, успокоенный тономъ Камышева. — Клянусь вамъ, я привязаю къ Россіи, къ вамъ и къ вашимъ дѣтямъ... Оставить васъ для меня такъ же тяжело, какъ умереть! Но каждое ваше слово рѣжетъ мнѣ сердце!

— Ахъ, чудакъ! Если я французовъ ругаю, такъ вамъ-то съ какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаемъ, такъ всѣмъ и обижаться? Чудакъ, право! Берите примѣръ вотъ съ Лазаря Неакича, арендатора... Я его и такъ, и этакъ, и жидомъ, и пархомъ, и свинячье ухо изъ поля дѣлаю, и за пейсы хвагаю... не обижается же!

— Но то вѣдь рабъ! Изъ-за конейки онъ готовъ на всякую низость!

— Ну, ну, ну... будетъ! Пойдемъ обѣдать! Миръ и согласіе!

Шампунь пудритъ свое заплаканное лицо и идетъ съ Камышевымъ въ столовую. Первое блюдо съѣдается молча, послѣ второго начинается та же исторія, и такимъ образомъ страданія Шампуня не имѣютъ конца.

КУХАРКА ЖЕНИТСЯ.

Гриша, маленькій, семилѣтній карапузикъ, стоялъ около кухонной двери, подслушивалъ и заглядывалъ въ замочную скважину. Въ кухнѣ происходило нѣчто, по его мнѣнію, необыкновенное, доселѣ не виданное. За кухоннымъ столомъ, на которомъ обыкновенно рубятъ мясо и крошатъ лукъ, сидѣлъ большой, плотный мужикъ въ извозничьемъ кафтанѣ, рыжій, бородатый, съ большой каплей пота на носу. Онъ держалъ на пяти пальцахъ правой руки блюдечко и пилъ чай, причемъ такъ громко кусалъ сахаръ, что Гришину спину подиралъ морозъ. Противъ него на грязномъ табуретѣ сидѣла старуха нянька Акинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и въ то же время сіяло какимъ-то торжествомъ. Кухарка Пелагея возилась около печки и видимо старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ея лицѣ Гриша видѣлъ цѣлую иллюминацію: оно горѣло и переливало всѣми цвѣтами, начиная съ красно-багроваго и кончая смертельно-блѣднымъ. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за пожи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но въ сущности ничего не дѣлала. На столѣ, за которымъ пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвѣчала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.

— Кушайте, Данило Семенычъ!— угощала нянька извозчика.— Да что вы все чай, да чай? Вы бы водочки выкушали!

И нянька придвигала къ гостю сороковушку и рюмку, причемъ лицо ея принимало схищнѣйшее выраженіе.

— Не потребляю-съ... нѣтъ-съ—отнѣкивался извозчикъ.— Не невольте, Акинья Степановна.

— Какой же вы... Извозчики, а не пьете... Холостому человѣку невозможно, чтобъ не пить. Выкушайте!

Извозчикъ косился на водку, потомъ на схищенное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менѣе схищенное выраженіе: нѣтъ, молъ, не поймашь, старая вѣдьма!

— Не пью-съ, увольте-съ... При нашемъ дѣлѣ не годится это малодушество. Мастеровой человекъ можетъ пить, потому онъ на одномъ мѣстѣ сидитъ, нашъ же братъ всегда на виду, въ публикѣ. Не такъ ли-съ? Пойдешь въ кабаки, а тутъ лошадь ушла; напьешься ежели—еще хуже: того и гляди уснешь, или съ козель свалишься. Дѣло такое.

— А вы сколько въ день выручаете, Данило Семеновичъ?

— Какой день. Въ иной день на зелененькую вывздишь, а въ другой разъ такъ и безъ гроша ко двору пойдешь. Дни разные бываютъ-съ. Нонче наше дѣло совсѣмъ ничего не стоитъ. Извозниковъ, сами знаете, хоть прудъ пруди, сѣно дорогое, а сѣдокъ пустяковый, норовить все на конкѣ проѣхать. А все жъ, благодарить Бога, не на что жалиться. И сыты, и одѣты, и... можемъ даже другого кого осчастливить... (извозчикъ покосился на Целагею)... ежели имъ по сердцу.

Что дальше говорилось, Гриша не слышалъ. Подошла къ двери мамаша и послала его въ дѣтскую учиться.

— Ступай учиться. Не твоё дѣло тутъ слушать!

Придя къ себѣ въ дѣтскую, Гриша положилъ передъ собою «Родное Слово», но ему не читалось. Все только-что видѣнное и слышанное вызвало въ его головѣ массу вопросовъ.

«Кухарка женится...—думалъ онъ.—Странно. Не понимаю, зачѣмъ это жениться? Мамаша женилась на папашѣ, кузина Вѣрочка—на Павлѣ Андреичѣ. Но на папѣ и Павлѣ Андреичѣ, такъ и быть ужъ, можно жениться: у нихъ есть золотыя цѣпочки, хорошіе костюмы, у нихъ всегда сапоги вычищенные; но жениться на этомъ страшномъ извозчикѣ съ краснымъ носомъ, въ валенкахъ... фи! И почему это нянькѣ хочется, чтобъ бѣдная Целагея женилась?»

Когда изъ кухни ушелъ гость, Целагея явилась въ комнаты и занялась уборкой. Волненіе еще не оставило ея. Лицо ея было красно и словно испуганно. Она едва касалась вѣвникомъ пола и по пяти разъ мела каждый уголокъ. Долго она не выходила изъ той комнаты, гдѣ сидѣла мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество и ей хотѣлось

высказаться, подѣлиться съ кѣмъ-нибудь впечатлѣніями, излить душу.

— Ушель!—проворчала она, видя, что мамаша не начинаетъ разговора.

— А онъ, замѣтно, хорошій человекъ,—сказала мамаша, не отрывая глазъ отъ выпиванья.—Трезвый такой, степенный.

— Ей-Богу, барыня, не выйду!—крикнула вдругъ Пелагея, вся вспыхнувъ.—Ей-Богу, не выйду!

— Ты не дури, не маленькая. Это шагъ серьезный, нужно обдумать хорошенько, а такъ, зря, нечего кричать. Онъ тебѣ нравится?

— Выдумываете, барыня!—застыдилась Пелагея.—Такое скажутъ, что... ей-Богу...

«Сказала бы: не нравится!»—подумалъ Гриша.

— Какая ты, однако, ломака... Нравится?

— Да онъ, барыня, старый! Гы-ы!

— Выдумывай еще!—окрысилась на Пелагею изъ другой комнаты нянька.—Сорока годовъ еще не исполнилось. Да на что тебѣ молодой? Съ лица, дура, воды не пить... Выходи, вотъ и все!

— Ей-Богу, не выйду!—взвизгнула Пелагея.

— Блажишь! Какого лѣшаго тебѣ еще нужно? Другая бы въ ножки поклонилась, а ты—не выйду! Тебѣ бы все съ почтальонами да лепетиторами перемигиваться! Къ Гришенькѣ лепетиторъ ходитъ, барыня, такъ она объ него всѣ свои глазищи обмозолила. У, безстыжая!

— Ты этого Данилу раньше видала?—спросила барыня Пелагею.

— Гдѣ мнѣ его видѣть? Первый разъ сегодня вижу, Аксинья откуда-то привела... чорта окаянного... И откуда онъ взялся на мою голову!

За обѣдомъ, когда Пелагея подавала кушанья, всѣ обѣдающіе засматривали ей въ лицо и дразнили ее извозчикомъ. Она страшно краснѣла и принужденно хихикала.

«Должно-быть, совѣстно жениться... — думалъ Гриша.— Ужасно совѣстно!»

Всѣ кушанья были пересолены, изъ недожаренныхъ цыплятъ сочилась кровь и, въ довершеніе всего, во время обѣда изъ рукъ Пелагеи сыпались тарелки и ножи, какъ съ по-

хливишейся полки, но никто не сказалъ ей ни слова упрека, такъ какъ всѣ понимали состояніе ея духа. Разъ только мамаша съ сердцемъ вывернула салфетку и сказала мамашѣ:

— Что у тебя за охота всѣхъ женить да замужъ выдавать! Какое тебѣ дѣло? Пусть сами женятся, какъ хотять.

Послѣ обѣда въ кухнѣ замелькали сосѣдскія кухарки и горничныя, и до самаго вечера слышалось шушуканье. Откуда онѣ пронохали о сватовствѣ—Богъ вѣсть. Проснувшись въ полночь, Гриша слышала, какъ въ дѣтской за занавѣскою шушукались нянька и кухарка. Нянька убѣждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши послѣ этого, Гриша видѣла во снѣ похищеніе Пелагеи Черноморомъ и вѣдьмой...

Съ другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своимъ чередомъ, словно извозчика и на свѣтѣ не было. Изрядка только нянька одѣвалась въ новую шаль, принимала торжественно-суровое выраженіе и уходила куда-то часа на два, очевидно для переговоровъ... Пелагея съ извозчикомъ не видалась, и когда ей напоминали о немъ, она вспыхивала и кричала:

— Да будь онъ трижды проклятъ, чтобъ я о немъ думала! Тьфу!

Однажды вечеромъ въ кухню, когда тамъ Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:

— Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дѣло, но, Пелагея, знай, что онъ не можетъ здѣсь жить... Ты знаешь, я не люблю, если кто въ кухнѣ сидитъ. Смотри же, помни... И тебя я не буду отпускать на ночь.

— И Богъ знаетъ, что выдумываете, барыня! — взвизнула кухарка. — Да что вы меня имъ попрекаете? Пуцай онъ сбѣется! Вотъ еще навязался на мою голову, чтобъ ему...

Заглянувъ въ одно воскресное утро въ кухню, Гриша замеръ отъ удивленія. Кухня биткомъ была набита народомъ. Тутъ были кухарки со всего двора, дворникъ, два городовыхъ, унтеръ съ нашивками, мальчикъ Филька... Тотъ Филька обыкновенно трется около прачешной и играетъ съ собаками, теперь же онъ былъ причесанъ, умытъ и держалъ икону въ фольговой ризѣ. Посреди кухни стояла Пелагея въ новомъ ситцевомъ платьѣ и съ цвѣткомъ на головѣ. Рядомъ съ нею стоялъ извозчикъ. Оба

молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.
— Ну-съ... кажись, время...—началь унтеръ послѣ долгаго молчанія.

Целагея заморгала всѣмъ лицомъ и заревѣла... Унтеръ взялъ со стола большой хлѣбъ, сталъ рядомъ съ нянькой и началъ благословлять. Извозчикъ подошелъ къ унтеру, бухнулъ передъ нимъ поклонъ и чмокнулъ его въ руку. То же самое сдѣлалъ онъ и передъ Аксиной. Целагея машинально слѣдовала за нимъ и тоже бухала поклоны. Наконецъ, отворилась наружная дверь, въ кухню пахнулъ бѣлый туманъ, и вся публика съ шумомъ двинулась изъ кухни на дворъ.

«Бѣдная, бѣдная! — думалъ Гриша, прислушиваясь къ рыданьямъ кухарки. — Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»

Послѣ вѣща до самаго вечера въ прачешной пѣли и играли на гармоникѣ. Мамаша все время сердилась, что отъ няньки пахнетъ водкой и что изъ-за этихъ свадебъ некому поставить самоваръ. Когда Гриша ложился спать, Целагея еще не возвращалась.

«Бѣдная, плачетъ теперь гдѣ-нибудь въ потемкахъ! — думалъ онъ. — А извозчикъ на нее: цыцъ! цыцъ!»

На другой день утромъ кухарка была уже въ кухнѣ. Заходилъ на минуту извозчикъ. Онъ поблагодарилъ мамашу и, взглянувъ сурово на Целагею, сказалъ:

— Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте замѣсто отца-матери. И вы тоже, Аксиныя Степанна, не оставьте, посматривайте, чтобъ все благородно... безъ шалостей... А также, барыня, дозвольте рубликовъ пять въ счетъ ейнаго жалованья. Хомутъ надо купить новый.

Опять задача для Гриши: жила Целагея на волѣ, какъ хотѣла, не отдавая никому отчета, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего явился какой-то чужой, который откуда-то получилъ право на ея поведеніе и собственность! Гришѣ стало горько. Ему страшно, до слезъ захотѣлось приласкать эту, какъ онъ думалъ, жертву человѣческаго насилія. Выбравъ въ кладовой самое большое яблоко, онъ прокрался на кухню, сунулъ его въ руку Целагеѣ и опрометью бросился назадъ.

ШИЛО ВЪ МЪШКЪ.

На обывательской тройкѣ, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, сѣвѣннѣ Петръ Павловичъ Посудинъ въ уѣздный городишко N., куда вызывало его полученное имъ анонимное письмо.

«Накрыть... Какъ снѣгъ на голову...—мечталъ онъ, пряча лицо свое въ воротникъ. — Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуютъ, небось, воображаютъ, что концы въ воду спрятали... Ха-ха... Воображаю ихъ ужасъ и удивленіе, когда въ разгаръ торжества послышатся: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» То-то переполохъ будетъ! Ха-ха...»

Намечтавшись вдоволь, Посудинъ вступилъ въ разговоръ со своимъ возницей. Какъ человѣкъ, алчущій популярности, онъ прежде всего спросилъ о себѣ самомъ:

— А Посудина ты знаешь?

— Какъ не знать! — ухмыльнулся возница. — Знаемъ мы его!

— Что же ты смѣешься?

— Чудное дѣло! Каждого послѣдняго писаря знаешь, а чтобъ Посудина не знать! На то онъ здѣсь и поставленъ, чтобъ его всѣ знали.

— Это такъ... Ну, что? Какъ онъ, по-твоему? Хорошъ?

— Ничего...—зѣвнулъ возница. — Господинъ хорошій, знаетъ свое дѣло... Двухъ годовъ еще нѣтъ, какъ его сюда прислали, а ужъ надѣлалъ дѣловъ.

— Что же онъ такое особенное сдѣлалъ?

— Много добра сдѣлалъ, дай Богъ ему здоровья. Желѣзную дорогу выхлопоталъ, Хохрюкова въ нашемъ уѣздѣ

увольнилъ... Конца краю не было этому Хохрюкову... Шельма былъ, выжига, всѣ прежніе его руку держали, а пріѣхалъ Посудинъ — и загудѣлъ Хохрюковъ къ чорту, словно его и не было... Во, братъ! Посудина, братъ, не подкупишь, нѣ-ѣтъ! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а онъ не станетъ тебѣ пріимать грѣхъ на душу... Нѣ-ѣтъ!

«Слава Богу, хоть съ этой стороны меня поняли, — подумалъ Посудинъ, ликуя. — Это хорошо».

— Образованный господинъ... — продолжалъ возница: — не гордый... Наши ѣздили къ нему жалиться, такъ онъ словно съ господами: всѣхъ за ручку, «вы, садитесь»... Горячій такой, быстрый... Слова тебѣ путемъ не скажетъ, а все — фыркъ! фыркъ! Чтобъ онъ тебѣ шагомъ ходилъ, или какъ — ни Боже мой, а норовитъ все бѣгомъ, все бѣгомъ! Нани ему и слова сказать не успѣли, какъ онъ: «лошадей!!» да прямо сюда... Пріѣхалъ и все обдѣлалъ... ни копейки не взялъ. Куда лучше прежняго! Конечно, и прежній хорошъ былъ. Видный такой, важный, звончѣе его во всей губерніи никто не кричалъ... Бывало, ѣдетъ, такъ за десять верстъ слышать; но ежели по наружной части, или внутреннимъ дѣламъ, то нынѣшній куда ловчѣе! У нынѣшняго въ головѣ этой самой мозги во сто разъ больше... Одно только горе... Всѣмъ хорошъ человекъ, но одна бѣда: пьяница!

«Вотъ такъ клюква!» — подумалъ Посудинъ.

— Откуда же ты знаешь, — спросилъ онъ: — что я... что онъ пьяница.

— Оно, конечно, ваше благородіе, самъ я не видалъ его пьянаго, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьянымъ не видали, а слава такая про него ходить... При публикѣ, или куда въ гости пойдетъ, на балъ, это, или въ общество, — никогда не пьетъ. Дома хлещетъ... Встанетъ утромъ, протретъ глаза и первымъ дѣломъ — водки! Камердинъ принесетъ ему стаканъ, а онъ ужъ другого просить... Такъ цѣльный день и глушить. И скажи ты на милость: пьетъ, и ни въ одномъ глазѣ! Стало-быть, соблюдать себя можетъ. Бывало, какъ нашъ Хохрюковъ запьетъ, такъ не то что люди, даже собаки воютъ. Посудинъ же — хоть бы тебѣ носъ у него покраснѣлъ! Запретя у себя въ кабинетѣ и локаетъ... Чтобъ люди не примѣтили, онъ себѣ въ столѣ ящикъ такой приспособилъ, съ трубочкой. Всегда въ этомъ

ящикъ водка... Нагнешься къ трубочкѣ, пососешь, и пьянъ... Въ каретѣ тоже, въ портфель...

«Откуда они знаютъ? — ужаснулся Посудинъ. — Боже мой, даже это извѣстно! Какая мерзость...»

— А вотъ тоже насчетъ женскаго пола... Шельма! (возница засмѣялся и покрутилъ головой). Безобразіе, да и только! Штукъ десять у него этихъ самыхъ... вертефлюхъ... Двѣ у него въ домѣ живутъ... Одна у него, эта Настасья Ивановна, какъ бы замѣсто распорядительши, другая — какъ ее, чортъ? — Людмила Семеновна, на манеръ писарши... Главнѣе всѣхъ Настасья. Эта что захочетъ, онъ все дѣлаетъ... Такъ и вертитъ имъ, словно лиса хвостомъ. Вольная власть ей дадена. И его такъ не боятся, какъ ее... Ха-ха... А третья вертуха на Качальной улицѣ живетъ... Срамота!

«Даже по именамъ знаетъ, — подумалъ Посудинъ, краснѣя. — И кто же знаетъ? Мужикъ, ящикъ... который и въ городѣ-то никогда не бывалъ!.. Какая мерзость... гадость... пошлость!»

— Откуда же ты все это знаешь? — спросилъ онъ раздраженнымъ голосомъ.

— Люди сказывали... Самъ я не видалъ, но отъ людей слыхивалъ. Да узнать нешто трудно? Камердину, или кучеру языка не отрѣжешь... Да чай, и сама Настасья ходитъ по всѣмъ переулкамъ, да счастьемъ своимъ бабымъ похвалется. Отъ людскаго глаза не скроешься... Вотъ тоже взялъ манеру этотъ Посудинъ потихоньку на слѣдствія ѣздить... Прежній, бывало, какъ захочетъ куда ѣхать, такъ за мѣсяць даетъ знать, а когда ѣдетъ, такъ шуму этого, грому, звону и... не приведи Создатель! И спореди его скачутъ, и сзади скачутъ, и съ боковъ скачутъ. Приѣдетъ къ мѣсту, выспится, наѣстся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подереть глотку, потоночить ногами, опять выспится и тѣмъ же порядкомъ назадъ... А нынѣшній, какъ прослышитъ что, норовить съѣздить потихоньку, быстро, чтобъ никто не видалъ и не зналъ... Па-а-тѣха! Выйдетъ непримѣтно изъ дому, чтобъ чиновники не видали, и на машину... Доѣдетъ до какой ему нужно станціи и не то что почтовыхъ, или что поблагороднѣй, а норовить мужика нанять. Закутается весь, какъ баба, и всю дорогу хрипитъ, какъ старый песъ, чтобъ гозоса его не

узнали. Просто кишки порвешь со смѣху, когда люди рассказываютъ. Ёдетъ дурень и думаетъ, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человѣку — тьфу! разъ плюнуть...

— Какъ же его узнаютъ?

— Очено просто. Прежде, какъ нантъ Хохрюковъ потихоньку ѣздилъ, такъ мы его по тяжелымъ рукамъ узнавали. Ежели сѣдокъ бьетъ по зубамъ, то это, значитъ, и есть Хохрюковъ. А Посудина сразу увидеть можно... Простой пассажиръ просто себя и держитъ, а Посудинъ не таковский, чтобъ простоту соблюдать. Приѣдетъ, скажемъ, хоть на почтовую станцію, и начнетъ!.. Ему и воняетъ, и душно, и холодно... Ему и цыплятъ подавай, и фрухтовъ, и вареньевъ всякихъ... Такъ на станціяхъ и знаютъ: ежели кто зимой спрашиваетъ цыплятъ и фрухтовъ, то это и есть Посудинъ. Ежели кто говоритъ смотрителю «милѣйшій мой» и гоняетъ народъ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудинъ. И пахнетъ отъ него не такъ, какъ отъ людей, и ложится спать на свой манеръ... Ляжетъ на станціи на диванъ, попрыщетъ около себя духами и велитъ около подушки три свѣчки поставить. Лежитъ и бумаги читаетъ... Ужъ тутъ не те что смотритель, но и кошка разберетъ, что это за человѣкъ такой...

«Правда, правда... — подумалъ Посудинъ. — И какъ я этого раньше не зналъ!»

— А кому есть надобность, то и безъ фрухтовъ, и безъ цыплятъ узнаетъ. По телеграфу все извѣстно... Какъ тамъ ни кутай рыла, какъ ни прячься, а ужъ тутъ знаютъ, что ѣдешь. Ждутъ... Посудинъ еще у себя изъ дому не выходилъ, а тутъ ужъ—сдѣлай одолженіе, все готово! Приѣдетъ онъ, чтобъ ихъ на мѣстѣ накрыть, подъ судъ отдать, или смѣнить кого, а они надъ нимъ же и посмѣются. Хоть ты, скажутъ, ваше сіятельство, и потихоньку приѣхалъ, а гляди: у насъ все чисто!.. Онъ повернется, повернется да съ тѣмъ и уѣдетъ, съ тѣмъ приѣхалъ... Да еще похвалить, руки пожметъ имъ всѣмъ, извиненія за безпокойство попросить... Вотъ какъ! А ты думалъ какъ? Хо-хо, ваше благородіе! Народъ тутъ ловкій, ловкачъ на ловкачъ!.. Глядѣтъ любо, что за черти! Да вотъ, хоть нынѣшній случай взять... Ёду я сегодня утромъ порожнемъ, а навстрѣчу со станціи летитъ жидъ, буфетчикъ. «Куда, спрашиваю, ваше

жидовское благородіе, ѣдень?» А онъ и говорить: «Въ городъ N. вино и закуску везу. Тамъ нынче Посудина ждутъ». Ловко? Посудинъ, можетъ, еще только собирается ѣхать, или кутаеть лицо, чтобъ его не узнали. Можетъ, ужъ ѣдетъ и думаетъ, что знать никто не знаетъ, что онъ ѣдетъ, а ужъ для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыръ, и закуска разная... А? ѣдетъ онъ и думаетъ: «Крышка вамъ, ребята!» а ребята и горя мало! Пушай ѣдетъ! У нихъ давно ужъ все спрятано!

— Назадъ!—прохрипѣвъ Посудинъ. — Поѣзжай назадъ, ссскотина!

И удивленный возница повернулъ назадъ.

ДРАМА.

— Павелъ Васильичъ, тамъ какая-то дама пришла, васъ спрашиваетъ, — доложилъ Лука. — Ужь цѣлый часъ дожидается...

Павелъ Васильевичъ только-что позавтракалъ. Услыхавъ о дамѣ, онъ поморщился и сказалъ:

— Ну ее къ чорту! Скажи, что я занятъ.

— Она, Павелъ Васильичъ, уже пять разъ приходила. Говорить, что очень нужно васъ видѣть... Чуть не плачетъ.

— Гм... Ну, ладно, проси ее въ кабинетъ.

Павелъ Васильевичъ не сѣбша надѣлъ сюртукъ, взявъ въ одну руку перо, въ другую—книгу и, дѣлая видъ, что онъ очень занятъ, пошелъ въ кабинетъ. Тамъ уже ждала его гостыя—большая полная дама съ краснымъ мясистымъ лицомъ и въ очкахъ, на видъ весьма почтенная и одѣтая больше чѣмъ прилично (на ней были турнюръ съ четырьмя перехватами и высокая шляпка съ рыжей птицей). Увидѣвъ хозяина, она закатила подъ лобъ глаза и сложила молитвенно руки.

— Вы, конечно, не помните меня, — начала она высокимъ мужскимъ теноромъ, замѣтно волнуясь.—Я... я имѣла удовольствіе познакомиться съ вами у Хруцкихъ... Я — Мурашкина...

— А-а-а... мм... Садитесь! Чѣмъ могу быть полезенъ?

— Видите ли, я... я...—продолжала дама, садясь и еще

болѣе волнуясь.—Вы меня не помните... Я—Мурашкина... Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда съ наслажденіемъ читаю ваши статьи... Не подумайте, что я льщу,—избави Богъ,—я воздаю только должное... Всегда, всегда васъ читаю! Отчасти я сама не чужда авторства, то-есть, конечно... я не смѣю называть себя писательницей, но... все-таки и моя капля меда есть въ ульѣ. Я напечатала разновременно три дѣтскихъ разсказа, — вы не читали, конечно... много переводила и... и мой покойный братъ работалъ въ «Дѣлѣ».

— Такъ-съ... э-э-э... Чѣмъ могу быть полезенъ?

— Видите ли... (Мурашкина потупила глаза и зарумянилась). Я знаю вашъ талантъ... ваши взгляды, Павелъ Васильевичъ, и мнѣ хотѣлось бы узнать ваше мнѣніе или вѣрнѣе... попросить совѣта. Я, надо вамъ сказать, pardon pour l'expression, разрѣшилась отъ бремени драмой и мнѣ, прежде чѣмъ послать ее въ цензуру, хотѣлось бы узнать ваше мнѣніе.

Мурашкина нервно, съ выраженіемъ пойманной птицы, порылась у себя въ платѣ и вытащила большую жирную тетрадищу.

Павелъ Васильевичъ любилъ только свои статьи, чужія же, которыя ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатлѣніе пушечнаго жерла, направленнаго ему прямо въ физиономію. Увидѣвъ тетрадь, онъ испугался и поспѣшилъ сказать:

— Хорошо, оставьте... я прочту.

— Павелъ Васильевичъ! — сказала тономъ Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки. — Я знаю, вы заняты... вамъ каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчасъ въ душѣ посылаете меня къ чорту, но... будьте добры, позвольте мнѣ прочесть вамъ мою драму сейчасъ... Будьте милы!

— Я очень радъ... — замаялся Павелъ Васильевичъ: — по, сударыня, я... я занятъ... Мнѣ... мнѣ сейчасъ вѣхать нужно.

— Павелъ Васильевичъ! — простонала барыня, и глаза ея наполнились слезами. — Я жертвы прошу! Я нахальна, я назойлива, но будьте великодушны! Завтра я уѣзжаю въ Казань, и мнѣ сегодня хотѣлось бы знать ваше мнѣніе.

Подарите мнѣ полчаса вашего вниманія... только полчаса! Умоляю васъ!

Павель Васильевичъ былъ въ душѣ тряпкой и не умѣлъ отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колѣни, онъ сконфузился и забормоталъ растерянно:

— Хорошо-съ, извольте... я послушаю... Полчаса я готовъ.

Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усѣвшись, начала читать. Сначала она прочла о томъ, какъ лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышнѣ Аннѣ Сергѣевнѣ, которая построила въ селѣ школу и больницу. Горничная, когда лакей вышелъ, произнесла монологъ о томъ, что ученье—свѣтъ, а неученье—тьма; потомъ Мурашкина вернула лакея въ гостиную и заставила его сказать длинный монологъ о баринѣ-генералѣ, который не терпитъ убѣжденій дочери, собирается выдать ее за богатаго камеръ-юнкера и находить, что спасеніе народа заключается въ кругломъ невѣжествѣ. Затѣмъ, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентинѣ Ивановичѣ, сынѣ бѣднаго учителя, безвозмездно помогающемъ своему больному отцу. Валентинъ прошелъ всѣ науки, но не вѣруетъ ни въ дружбу, ни въ любовь, не знаетъ цѣли въ жизни и жаждетъ смерти, а потому ей, барышнѣ, нужно сласти его.

Павель Васильевичъ слушалъ и съ тоской вспоминалъ о своемъ диванѣ. Онъ злобно оглядывалъ Мурашкину, чувствовалъ, какъ по его барабаннымъ перепонкамъ стучалъ ея мужской теноръ, ничего не понималъ и думалъ:

«Чортъ тебя принесь... Очень мнѣ нужно слушать твою чепуху!.. Ну, чѣмъ я виноватъ, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вотъ наказаніе!»

Павель Васильевичъ взглянулъ на простѣнокъ, гдѣ висѣлъ портретъ его жены, и вспомнилъ, что жена приказала ему купить и привезти на дачу пять аршинъ тесьмы, фунтъ сыру и зубного порошку.

«Какъ бы мнѣ не потерять образчикъ тесьмы,—думалъ онъ.—Куда я его сунулъ? Кажется, въ синемъ пиджакѣ... А подьяи мухи успѣли-таки засыпать многоточіями жеминъ портретъ. Надо будетъ приказать Ольгѣ помыть стекло...»

Читаетъ XII явленіе, значить, скоро конецъ перваго дѣйствія. Неужели въ такую жару, да еще при такой корнупленціи, какъ у этой туши, возможно вдохновеніе? Чѣмъ драмы писать, бла бы лучше холодную окрошку, да спала бы въ погребѣ...»

— Вы не находите, что этотъ монологъ нѣсколько длиненъ?—спросила вдругъ Мурашкина, поднимая глаза.

Павель Васильевичъ не слышалъ монолога. Онъ сконфузился и сказалъ такимъ виноватымъ тономъ, какъ будто не барыня, а онъ самъ написалъ этотъ монологъ:

— Пѣтъ, пѣтъ, нисколько... Очень мило...

Мурашкина просіяла отъ счастья и продолжала читать:

— *Анна*.—Васъ заѣлъ анализъ. Вы слишкомъ рано перестали жить сердцемъ и довѣрились уму.—*Валентинъ*.—Что такое сердце? Это понятіе анатомическое. Какъ условный терминъ того, что называется чувствами, я не признаю его. — *Анна* (смутившись). — А любовь? Неужели и она есть продуктъ ассоціаціи идей? Скажите откровенно: вы любили когда-нибудь?—*Валентинъ* (съ горечью).—Не будемъ трогать старыхъ, еще не зажившихъ ранъ (пауза). О чемъ вы задумались? — *Анна*. — Миѣ кажется, что вы несчастливы.

Во время XVI явленія Павелъ Васильевичъ зѣвнулъ и нечаянно издалъ зубами звукъ, какой издаютъ собаки, когда ловятъ мухъ. Онъ испугался этого неприлучнаго звука и, чтобы замаскировать его, придавъ своему лицу выраженіе умилительнаго вниманія.

«XVII явленіе... Когда же конецъ? — думалъ онъ. — О, Боже мой! Если эта мука продолжится еще десять минутъ, то я крикну караулъ... Невыносимо!»

Но вотъ, наконецъ, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голосъ и прочла: «зававѣсъ».

Павель Васильевичъ легко вздохнулъ и собрался подняться, но тотчасъ же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать...

— Дѣйствіе второе. Сцена представляетъ сельскую улицу. Направо школа, налѣво больница. На ступеняхъ послѣдней сидятъ поселяне и поселянки.

— Виновать...—перебилъ Павелъ Васильевичъ.—Сколько всѣхъ дѣйствій?

— Пять, — отвѣтила Мурашкина и тотчас же, словно боясь, чтобы слушатель не ушелъ, быстро продолжала. — Изъ окна школы глядитъ Валентинъ. Видно, какъ въ глубинѣ сены поселяне носятъ свои пожитки въ кабакъ.

Какъ приговоренный къ казни и увѣренный въ невозможности помилованія, Павелъ Васильевичъ ужь не ждалъ конца, ни на что не надѣялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы съ лица не сходило выраженіе вниманія. Будущее, когда барыня кончитъ драму и уйдетъ, казалось ему такимъ отдаленнымъ, что онъ и не думалъ о немъ.

— Тру-ту-ту-ту... — звучалъ въ его ушахъ голосъ Мурашкиной. — Тру-ту-ту... Жжжж...

«Забылъ я соды принять—думалъ ояъ.—О чемъ, блинъ, я? Да, о содѣ... У меня, по всей вѣроятности, катаръ желудка... Удивительно: Смирновскій цѣлый день глушигъ водку, и у него до сихъ поръ нѣтъ катара... На окно какая-то птичка сѣла... Воробей...»

Павелъ Васильевичъ сдѣлалъ усиліе, чтобы разомкнуть напряженныя, слипающіяся вѣки, зѣвнулъ, не раскрывая рта, и поглядѣлъ на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась въ его глазахъ, стала трехголовой и уперлась головой въ потолокъ...

— *Валентинъ*.—Нѣтъ, позвольте мнѣ уѣхать...—*Анна* (испуганно).—Зачѣмъ?—*Валентинъ* (въ сторону).—Она поблѣднѣла! (Ей) Не заставляйте меня объяснять причинъ. Скорѣе я умру, но вы не узнаете этихъ причинъ.—*Анна* (послѣ паузы).—Вы не можете уѣхать...

Мурашкина стала пухнуть, распухла въ громадину и слилась съ сѣрымъ воздухомъ кабинета; виденъ былъ только одинъ ея двигающійся ротъ; потомъ она вдругъ стала маленькой, какъ бутылка, закачалась и вмѣстѣ со столомъ ушла въ глубину комнаты...

— *Валентинъ* (держа Анну въ объятіяхъ).—Ты воскресила меня, указала цѣль жизни! Ты обновила меня, какъ весенній дождь обновляетъ пробужденную землю! Но... поздно, поздно! Грудь мою точитъ неизлѣчимый недугъ...

Павелъ Васильевичъ вздрогнулъ и уставился посоловѣлыми, мутными глазами на Мурашкину; минуту глядѣлъ онъ неподвижно, какъ будто ничего не понимая...

— Явленіе XI. Тѣ же, баронъ и становой съ поня-

тыми... *Валентинъ*.—Берите меня!—*Анна*.—Я его! Берите и меня! Да, берите и меня! Я люблю его, люблю больше жизни!—*Баронъ*.—Анна Сергѣевна, вы забываете, что губите этимъ своего отца...

Мурашкина опять стала пухнуть... Дико осматриваясь, Павелъ Васильевичъ приподнялся, вскрикнулъ груднымъ, неестественнымъ голосомъ, схватилъ со стола тяжелое прессъ-папье и, не помня себя, со всего размаха ударилъ имъ по головѣ Мурашкиной...

— Вяжите меня, я убилъ ее!—сказалъ онъ черезъ минуту вбѣжавшей прислугѣ.

Присяжные оправдали его.

ПРОИЗВЕДЕНІЕ ИСКУССТВА.

Держа подь мышкой что-то, завернутое въ 223-й номеръ «Биржевыхъ Вѣдомостей», Саша Смирновъ, единственный сынъ у матери, сдѣлалъ кислое лицо и вошелъ въ кабинетъ доктора Кошелькова.

— А, милый юноша!—встрѣтилъ его докторъ.—Ну, какъ мы себя чувствуемъ? Что скажете хорошенькаго?

Саша заморгалъ глазами, приложилъ руку къ сердцу и сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Кланялась вамъ, Иванъ Николаевичъ, мамаша и вѣля благодарить васъ... Я единственный сынъ у матери, и вы спасли мнѣ жизнь... вылѣчили отъ опасной болѣзни, и... мы оба не знаемъ, какъ благодарить васъ.

— Полно, юноша!—перебилъ докторъ, раскисая отъ удовольствія.—Я сдѣлалъ только то, что всякій другой сдѣлалъ бы на моемъ мѣстѣ.

— Я единственный сынъ у своей матери... Мы люди бѣдные и, конечно, не можемъ заплатить вамъ за вашъ трудъ, и... намъ очень совѣстно, докторъ, хотя, впрочемъ, мамаша и я... единственный сынъ у матери, убѣдительно просимъ васъ принять въ знакъ нашей благодарности... вотъ эту вещь, которая... Вещь очень дорогая, изъ старинной бронзы... рѣдкое произведеніе искусства.

— Напрасно!—поморщился докторъ.—Ну, къ чему это?

— Нѣтъ, ужъ вы, пожалуйста, не отказывайтесь,—продолжалъ бормотать Саша, развертывая свертокъ.—Вы обидите отказомъ и меня, и мамашу... Вещь очень хорошая... изъ старинной бронзы... Досталась она намъ отъ покойнаго папаши и мы хранили ее, какъ дорогую память... Мой папаша скупалъ старинную бронзу и продавалъ ее любителямъ... Теперь мамаша и я этимъ же занимаемся...

Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на столъ. Это былъ невысокій канделябръ старой бронзы, художественной работы. Изображать онъ группу: на пьедесталѣ стояли двѣ женскія фигуры въ костюмахъ Евы и въ позахъ, для описанія которыхъ у меня не хватаетъ ни смѣлости, ни подобающаго темперамента. Фигуры кокетливо улыбаются и вообще имѣли такой видъ, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвѣчникъ, то онѣ спрыгнули бы съ пьедестала и устроили бы въ комнатѣ такой дебошъ, о которомъ, читатель, даже и думать неприлично.

Поглядѣвъ на подарокъ, докторъ медленно почесалъ за ухомъ, крикнулъ и нерѣшительно высморкался.

— Да, вещь, дѣйствительно, прекрасная,—пробормоталъ онъ:—но... какъ бы выразиться, не того... нелитературна слишкомъ... Это ужъ не декольте, а чортъ знаетъ что...

— То-есть, почему же?

— Самъ змій-искуситель не могъ бы придумать ничего сквернѣе... Вѣдь поставить на столѣ такую фантазмагорію, значить всю квартиру загадить!

— Какъ вы странно, докторъ, смотрите на искусство!—обидѣлся Саша.—Вѣдь это художественная вещь, вы поглядите! Столько красоты и изящества, что душу наполняетъ благоговѣйное чувство и къ горлу подступаютъ слезы! Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное... Вы поглядите, сколько движенія, какая масса воздуха, экспрессіи!

— Все это я отлично понимаю, милый мой,—перебилъ докторъ:—но вѣдь я человѣкъ семейный, у меня тутъ дѣтишки бѣгаютъ, дамы бываютъ.

— Конечно, если смотрѣть съ точки зрѣнія толпы,—сказалъ Саша:—то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется въ иномъ свѣтѣ... Но, докторъ, будьте выше толпы, тѣмъ болѣе, что своимъ отказомъ вы глубоко огорчите и меня, и мамашу. Я единственный сынъ у матери... вы спасли мнѣ жизнь... Мы отдаемъ вамъ самую дорогую для насъ вещь, и... и я жалѣю только, что у васъ нѣтъ пары для этого канделябра...

— Спасибо, голубчикъ, я очень благодаренъ... Кланяйтесь мамашѣ, но, ей-Богу, сами посудите, у меня тутъ дѣтишки бѣгаютъ, дамы бываютъ... Ну, впрочемъ, пусть остается! Вѣдь вамъ не втолкуешь.

— И толковать нечего.—обрадовался Саша.—Этот канделябрь вы тут поставьте, вот около вазы. Эка жалость, что пары нѣтъ! Такая жалость! Ну, прощайте, докторъ.

По уходѣ Саши докторъ долго глядѣлъ на канделябрь, чесалъ у себя за ухомъ и размышлялъ.

«Вещь превосходная, спора нѣтъ,—думалъ онъ:—и бросать ее жалко... Оставить же у себя невозможно... Гм!.. Вотъ задача! Кому бы ее подарить или пожертвовать?»

Послѣ долгаго размышленія, онъ вспомнилъ про своего хорошаго пріятеля, адвоката Ухова, которому былъ долженъ за веденіе дѣла.

— И отлично,—рѣшилъ докторъ.—Ему, какъ пріятелю, неловко взять съ меня деньги, и будетъ очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту перловину! Кстати же онъ холостъ и легкомысленъ...

Не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, докторъ одѣлся, взялъ канделябрь и поѣхалъ къ Ухову.

— Здорово, пріятель!—сказалъ онъ, заставъ адвоката дома.—Я къ тебѣ... Принелъ благодарить, братецъ, за твои труды... Денегъ не хочешь брать, такъ возьми хоть эту вотъ вещицу... вотъ, братецъ ты мой... Вещица—роскошнъ!

Увидѣвъ вещицу, адвокатъ принелъ въ неописанный восторгъ.

— Вотъ такъ штука!—захохоталъ онъ.—Ахъ, чортъ подери его совсѣмъ, придумаютъ же черти такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Гдѣ ты досталъ такую прелесть?

Изливъ свой восторгъ, адвокатъ пугливо поглядѣлъ на дверь и сказалъ:

— Только ты, братъ, убери свой подарокъ. Я не возьму...

— Почему?—испугался докторъ.

— А потому... У меня бываетъ тутъ мать, кліенты... да и отъ прислуги совѣстно.

— Ни-ни-ни... Не смѣешь отказываться!—замахалъ руками докторъ.—Это свинство съ твоей стороны! Вещь художественная... сколько движенія... экспрессія... И говорить не хочу! Обидишь!

— Хоть бы замазано было, или фиговые листочки нацѣпить...

Но докторъ еще пуще замахалъ руками, выскочилъ изъ квартиры Ухова, и довольный, что сумѣлъ сбить съ рукъ подарокъ, поѣхалъ домой...

По уходѣ его адвокатъ осмотрѣлъ канделябръ, потрогалъ его со всѣхъ сторонъ пальцами и, подобно доктору, долго ломалъ голову надъ вопросомъ: что дѣлать съ подаркомъ?

«Вещь прекрасная,—разсуждалъ онъ:—и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее—это подарить кому-нибудь... Вотъ что, поднесу-ка я этотъ канделябръ сегодня вечеромъ комику Шашкину. Каналья любить подобные штуки, да и кстати же у него сегодня бенефисъ...»

Сказано—одѣлано. Вечеромъ тщательно завернутый канделябръ былъ поднесенъ комику Шашкину. Весь вечеръ уборную комика брали приступомъ мужчины, приходившіе полюбоваться на подарокъ; все время въ уборной стоялъ восторженный гулъ и смѣхъ, похожій на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь изъ актрисъ подходила къ двери и спрашивала: «можно войти?», то тотчасъ же слышался хриплый голосъ комика:

— Нѣтъ, нѣтъ, матушка! Я не одѣтъ!

Послѣ спектакля комикъ пожималъ плечами, разводилъ руками и говорилъ:

— Ну, куда я эту гадость дѣну? Вѣдь я на частной квартирѣ живу! У меня артистки бываютъ! Это не фотографія, въ столъ не спрячешь!

— А вы, сударь, продайте,—посоветовалъ парикмахеръ, разоблачая комика.—Тутъ въ предместьи живетъ старуха, которая покупаетъ старинную бронзу... Поѣзжайте и спросите Смирнову... Ее всякій знаетъ.

Комикъ послушался... Дня черезъ два докторъ Кошельковъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и, приложивъ палецъ ко лбу, думалъ о желчныхъ кислотахъ. Вдругъ отворилась дверь, и въ кабинетъ влетѣлъ Саша Смирновъ. Онъ улыбался, сиялъ и вся его фигура дышала счастьемъ... Въ рукахъ онъ держалъ что-то завернутое въ газету.

— Докторы!—началъ онъ, задыхаясь.—Представьте мою радость! На ваше счастье, намъ удалось приобрести пару для вашего канделябра!.. Мамаша такъ счастлива... Я единственный сынъ у матери... вы спасли мнѣ жизнь...

И Саша, дрожа отъ чувства благодарности, поставилъ передъ докторомъ канделябръ. Докторъ разинулъ ротъ, хотѣлъ было что-то сказать, но не сказалъ ничего: у него отнялся языкъ.

ОРДЕНЪ.

Учитель военной прогимназии, коллежскій регистраторъ Левъ Пустяковъ, обиталъ рядомъ съ другомъ своимъ поручикомъ Леденцовымъ. Къ послѣднему онъ и направилъ свои стопы въ новогоднее утро.

— Видишь ли, въ чемъ дѣло, Гриша, — сказалъ онъ поручику послѣ обычнаго поздравленія съ новымъ годомъ. — Я не сталъ бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мнѣ, голубчикъ, на сегодняшній день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обѣдаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: онъ страшно любитъ ордена и чуть ли не мерзавцами считаетъ тѣхъ, у кого не болтается что-нибудь на шеѣ или въ петлицѣ. И къ тому же, у него двѣ дочери... Настя, знаешь, и Зина... Говорю, какъ другу... Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сдѣлай милость!

Все это проговорилъ Пустяковъ, заикаясь, краснѣя и робко оглядываясь на дверь. Поручикъ выругался, но согласился.

Въ два часа пополудни Пустяковъ ѣхалъ на извозчикѣ къ Спичкинымъ и, распахнувши чуточку шубу, глядѣлъ себѣ на грудь. На груди сверкала золотомъ и отливала эмалью чужой Станиславъ.

«Какъ-то и уваженія къ себѣ больше чувствуешь! — думалъ учитель, покрываясь. — Маленькая штучка, рублей пять, не больше стдить, а какой фуроръ производитъ!»

Подѣхавъ къ дому Спичкина, онъ распахнулъ шубу и сталъ медленно расплываться съ извозчикомъ. Извозчикъ,

какъ показалось ему, увидѣвъ его погоны, пуговицы и Станислава, окаменѣлъ. Пустыяковъ самодовольно кашлянулъ и вошелъ въ домъ. Снимая въ передней шубу, онъ заглянулъ въ залу. Тамъ за длиннымъ обѣденнымъ столомъ сидѣли уже человекъ пятнадцать и обѣдали. Слышался говоръ и звяканье посуды.

— Кто это тамъ звонить?— слышался голосъ хозяина.— Ба, Левъ Николаичъ! Милости просимъ. Немножко опоздали, но это не бѣда. Сейчасъ только сѣли.

Пустыяковъ выставилъ впередъ грудь, поднялъ голову и, потирая руки, вошелъ въ залу. Но тутъ онъ увидѣлъ нѣчто ужасное. За столомъ, рядомъ съ Зиной, сидѣлъ его товарищъ по службѣ, учитель французскаго языка Трамблянъ. Показать французу орденъ—значило бы вызвать массу самыхъ неприятныхъ вопросовъ, значило бы осрамиться на вѣки, обезславиться... Первою мыслью Пустыякова было сорвать орденъ, или бѣжать назадъ; но орденъ былъ крѣпко пришитъ и отступление было уже невозможно. Быстро прикрывъ правой рукой орденъ, онъ сторбился, неловко отдалъ общій поклонъ и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стулъ, какъ разъ противъ сослуживца-француза.

«Выпивши, должно быть!»—подумалъ. Спичкинь, поглядѣвъ на его сконфуженное лицо.

Передъ Пустыяковымъ поставили тарелку супу. Онъ взялъ лѣвой рукой ложку, но, вспомнивъ, что лѣвой рукой не подобаетъ ѣсть въ благоустроенномъ обществѣ, заявилъ, что онъ уже отобѣдалъ и ѣсть не хочетъ.

— Я уже покушалъ-съ... Мерси-съ...— пробормоталъ онъ.— Былъ я съ визитомъ у дяди, протоіерея Елеева, и онъ упротилъ меня... тово... пообѣдать.

Душа Пустыякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: супъ издавалъ вкусный запахъ, а отъ паровой осетрины шелъ необыкновенно-аппетитный дымокъ. Учитель попробовалъ освободить правую руку и прикрыть орденъ лѣвой, но это оказалось неудобнымъ.

«Замѣтать... И черезъ всю грудь рука будетъ протянута, точно пѣть собираюсь. Господи, хоть бы скорѣе обѣдъ кончился! Въ трактирѣ ужъ пообѣдаю!»

Послѣ третьяго блюда онъ робко, однимъ глазкомъ поглядѣвъ на француза, Трамблянъ, почему-то спльно сконфу-

женный, глядѣлъ на него и тоже ничего не ѣлъ. Поглядѣвъ другъ на друга, оба еще болѣе сконфузились и опустили глаза въ пустыя тарелки.

«Замѣтилъ, подлецъ!—подумалъ Пустяковъ.—По рожаѣ вижу, что замѣтилъ! А онъ, мерзавецъ, кляузникъ. Завтра же донесетъ директору!»

Сѣѣли хозяева и гости четвертое блюдо, сѣѣли, волею судьбы, и пятое...

Поднялся какой-то высокій господинъ съ широкими, волосистыми ноздрями, горбатымъ носомъ и отъ природы прищуренными глазами. Онъ погладилъ себя по головѣ и провозгласилъ:

— Э-э-э... эи... эи... предлагаю выпить за процвѣтаніе сидящихъ здѣсь дамъ!

Обѣдающіе шумно поднялись и взяли за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всѣмъ комнатамъ. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяковъ поднялся и взялъ свою рюмку въ лѣвую руку.

— Левъ Николаичъ, потрудитесь передать этотъ бокалъ Настасѣ Тимофеевнѣ!—обратился къ нему какой-то мужчина, подавая бокалъ.—Заставьте ее выпить!

На этотъ разъ Пустяковъ, къ великому своему ужасу, долженъ былъ пустить въ дѣло и правую руку. Станиславъ съ помятой красной ленточкой увидѣлъ, наконецъ, свѣтъ и засіялъ. Учитель поблѣднѣлъ, опустилъ голову и робко поглядѣлъ въ сторону француза. Тотъ глядѣлъ на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались и съ лица медленно сползала конфузь...

— Юлій Августовичъ!—обратился къ французу хозяинъ.—Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблянъ нерѣшительно протянулъ правую руку къ бутылкѣ и... о, счастье! Пустяковъ увидалъ на его груди орденъ. И то былъ не Станиславъ, а цѣлая Анна! Значить, и французъ сжульничалъ! Пустяковъ засмѣялся отъ удовольствія, сѣлъ на стулъ и развалился... Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грѣшны однимъ грѣхомъ и некому, стало-быть, доносить и безславить...

— А-а-а... гм!..—промычалъ Спичкинъ, увидѣвъ на груди учителя орденъ.

— Да-съ! — сказалъ Пустяковъ. — Удивительное дѣло, Юлій Августовичъ! Какъ было мало у насъ передъ празд-

никами представленій! Сколько у насъ народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дѣло!

Трамблянъ весело закивалъ головой и выставилъ впередъ лѣвый лацканъ, на которомъ красовалась Анна 3-й степени.

Послѣ обѣда Пустяковъ ходилъ по всѣмъ комнатамъ и показывалъ барышнямъ орденъ. На душѣ у него было легко, вольготно, хотя и пощипывалъ подъ ложечкой голодь.

«Знай я такую штуку,—думалъ онъ, завистливо поглядывая на Трамбляна, бесѣдовавшаго со Спичкинымъ объ орденахъ:—я бы Владимира нацѣпилъ. Эхъ, не догадался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. Въ остальномъ же онъ былъ совершенно счастливъ.

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА.

Въ одинъ прекрасный вечеръ, не менѣе прекрасный экзекуторъ, Иванъ Дмитричъ Червяковъ, сидѣлъ во второмъ ряду кресель и глядѣлъ въ бинокль на «Корневильскіе колокола». Онъ глядѣлъ и чувствовалъ себя на верху блаженства. Но вдругъ... Въ разказахъ часто встрѣчается это «но вдругъ». Авторы правы: жизнь такъ полна внезапностей! Но вдругъ лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыханіе остановилось... онъ отвелъ отъ глазъ бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнулъ, какъ видите. Чихать никому и нигдѣ не возбраняется. Чихаютъ и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные совѣтники. Всѣ чихаютъ. Червяковъ нисколько не сконфузился, утерся платочкомъ и, какъ вѣжливый человѣкъ, поглядѣлъ вокругъ себя: не обезпеконилъ ли онъ кого-нибудь своимъ чиханьемъ? Но тутъ ужъ пришлось сконфузиться. Онъ увидѣлъ, что старичокъ, сидѣвшій впереди него, въ первомъ ряду кресель, старательно вытиралъ свою лысину и шею перчаткой и бормоталъ что-то. Въ старичкѣ Червяковъ узналъ статскаго генерала Бризжалова, служащаго по вѣдомству путей сообщенія.

«Я его обрызгалъ!—подумалъ Червяковъ. — Не мой начальникъ, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяковъ кашлянулъ, подався туловишемъ впередъ и зашепталъ генералу на ухо:

— Извините, ваше—ство, я васъ обрызгалъ... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради Бога, извините. Я вѣдь... я не желалъ!

— Ахъ, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяковъ сконфузился, глухо улыбулся и началъ глядѣть на сцену. Глядѣлъ онъ, но ужъ блаженства больше не чувствовалъ. Его начало помучивать безпокойство. Въ антрактѣ онъ подошелъ къ Брижжалову, походилъ возлѣ него и, поборовши робость, пробормоталъ:

— Я васъ обрызгалъ, ваше—ство... Простите... Я вѣдь... не то чтобы...

— Ахъ, полноте... Я ужъ забылъ, а вы все о томъ же!— сказалъ генераль и истерически шевельнулъ нижней губой.

«Забылъ, а у самого схиство въ глазахъ,— подумалъ Червяковъ, подозрительно поглядывая на генерала.— И говорить не хочетъ. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желалъ... что это законъ природы, а то подумаетъ, что я плюнуть хотѣлъ. Теперь не подумаетъ, такъ послѣ подумаетъ!..»

Придя домой, Червяковъ разсказалъ жени о своемъ невѣжествѣ. Жена, какъ показалось ему, слишкомъ легкомысленно отнеслась къ происшедшему; она только испугалась, а потомъ, когда узнала, что Брижжаловъ «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись,— сказала она.— Подумаетъ, что ты себя въ публикѣ держать не умѣешь!

— То-то вотъ и есть! Я извинялся, да онъ какъ-то странно... Ни одного слова путнаго не сказалъ. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяковъ надѣлъ новый вице-мундиръ, подстригся и пошелъ къ Брижжалову объяснять... Войдя въ приемную генерала, онъ увидѣлъ тамъ много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже началъ приемъ прошеній. Опросивъ нѣсколько просителей, генераль поднялъ глаза и на Червякова.

— Вчера въ «Аркадію», ежели припомните, ваше—ство,— началъ докладывать экзекуторъ:— и чихнулъ-съ и... нечаянно обрызгалъ... Изв...

— Какіе пустяки... Богъ знаетъ что! Вамъ что угодно?— обратился генераль къ слѣдующему просителю.

«Говорить не хочетъ!— подумалъ Червяковъ, блѣднѣя.— Сердится, значитъ... Нѣтъ, этого нельзя такъ оставить... Я ему объясню...»

Когда генераль кончилъ бесѣду съ послѣднимъ просителемъ и направился во внутренніе апартаменты, Червяковъ шагнулъ за нимъ и забормоталъ:

— Ваше—ство! Ежели я осмѣливаюсь безпокоить ваше—ство, то именно изъ чувства, могу сказать, раскаянія!.. Не парочно, сами изволите знать—съ!

Генераль состроилъ плаксивое лицо и махнулъ рукой.

— Да вы просто смѣтаетесь, милостисдарь!—сказалъ онъ, скрываясь за дверью.

«Какія же тутъ насмѣшки?— подумалъ Червяковъ.— Во-все тутъ нѣтъ никакихъ насмѣшекъ! Генераль, а не можетъ понять! Когда такъ, не стану же я больше извиняться передъ этимъ фанфарономъ! Чортъ съ нимъ! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-Богу, не стану!»

Такъ думалъ Червяковъ, идя домой. Письма генералу онъ не написалъ. Думалъ, думалъ, и никакъ не выдумалъ этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходилъ безпокоить ваше—ство, — забормоталъ онъ, когда генераль поднѣялъ на него вопрошающіе глаза: — не для того, чтобы смѣяться, какъ вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнулъ—съ... а смѣяться я и не думалъ. Смѣю ли я смѣяться? Ежели мы будемъ смѣяться, такъ никакого тогда, значить, и уваженія къ персонамъ... не будетъ...

— Пошелъ вонъ!! — гаркнулъ вдругъ поснившій и затрясшійся генераль.

— Что—съ? — спросилъ шопотомъ Червяковъ, мѣя отъ ужаса.

— Пошелъ вонъ!!—повторилъ генераль, затопавъ ногами.

Въ животѣ у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, онъ попятился къ двери, вышелъ на улицу и пошелъ... Придя машинально домой, не снимая виць-мундира, онъ лѣтъ на диванъ и... померъ.

КАНИТЕЛЬ.

На клиросѣ стоитъ дьячокъ Отлукавинъ и держитъ между вытянутыми, жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленькій лобъ его собрался въ морщины, на носу играютъ пятна всѣхъ цвѣтовъ, начиная съ розоваго и кончая темно-синимъ. Передъ нимъ на рыжемъ переплетѣ Цвѣтной Трїодѣ лежать двѣ бумажки. На одной изъ нихъ написано «о здравїи», на другой — «за упокой», и подъ обоими заглавіями по ряду именъ... Около клироса стоитъ маленькая старушонка съ озабоченнымъ лицомъ и съ котомкой на спинѣ. Она задумалась.

— Дальше кого?—спрашиваетъ дьячокъ, лѣниво почесывая за ухомъ.—Скорѣй, убогая, думай, а то мнѣ некогда. Сейчасъ часы читать стану.

— Сейчасъ, батюшка... Ну, пиши... О здравїи рабовъ Божїихъ: Андрея и Дарьи со чады... Митрія, опять Андрея, Антипа, Марьи...

— Постой, не шибко... Не за зайцемъ скачешь, успѣешь.

— Написалъ Марію? Ну, таперя Кирилла, Гордѣя, младенца новопреставленнаго Герасима, Пантелѣя... Записалъ усопшаго Пантелѣя?

— Постой... Пантелѣй померъ?

— Померъ...—вздыхаетъ старуха.

— Такъ какъ же ты велишь о здравїи записывать?—сердится дьячокъ, зачеркивая Пантелѣя и перенося его на другую бумажку.—Вотъ тоже еще... Ты говори толкомъ, а не путай. Кого еще за упокой?

— За упокой? Сейчасъ... постой... Ну, пиши... Ивана,

Авдотью, еще Дарью, Егора... Запиши... война Захара... Какъ пошелъ на службу въ четвертомъ годѣ, такъ съ той поры и не слышать...

— Стало-быть, онъ померъ?

— А кто жъ его знаетъ! Можетъ, померъ, а можетъ, и живъ... Ты пиши...

— Куда же я его запишу? Ежели, скажемъ, померъ, то за упокой, коли живъ, то о здравіи... Пойми вотъ вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименькій, его на обѣ записочки запиши, а тамъ видно будетъ. Да ему все равно, какъ его ни записывай: непутящій человекъ... пропащій... Записалъ? Та-перя за упокой Марка, Левонтія, Арину... ну, и Кузьму съ Анной... болящую Федосью...

— Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалѣлъ, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, такъ и говори, что не померла, а нечего въ за-упокой лѣзть! Путаешь тутъ! Изволь вотъ теперь Федосью хѣрить и въ другое мѣсто писать... всю бумагу изгадилъ! Ну, слушай, я тебѣ прочту... О здравіи Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипія, Маріи, Кирилла, новопреставленнаго младенца Гер... Постой, какъ же сюда этотъ Герасимъ попалъ? Новопреставленный, и вдругъ—о здравіи! Нѣтъ, запутала ты меня, убогая! Богъ съ тобой, совсѣмъ запутала!

Дьячокъ крутитъ головой, зачеркиваетъ Герасима и переноситъ его въ заупокойный отдѣлъ.

— Слушай! О здравіи Маріи, Кирилла, война Захаріи... Кого еще?

— Авдотью записалъ?

— Авдотью? Гм!.. Авдотью... Евдокію...—пересматриваетъ дьячокъ обѣ бумажки.—Помню, записывалъ ея, а теперь, шугъ ее знаетъ... никакъ не найдешь... Вотъ она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой?—удивляется старуха. — Году еще нѣтъ, какъ замужъ вышла, а ты на нее ужъ смерть накликаешь!.. Самъ вотъ, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты съ молитвой пиши, а коли будешь въ сердцѣ злбу имѣть, то бѣсу радость. Это тебя бѣсъ хороводитъ да путаешь...

--- Постой, не мѣшай...

Дьячокъ хмурится и, подумавъ, медленно зачеркиваетъ на заупокойномъ листкѣ Авдотью. Перо на буквѣ «д» взвизгиваетъ и даетъ большую кляксу. Дьячокъ конфузится и чешетъ затылокъ.

— Авдотью, стало-быть, долой отсюда...—бормочетъ онъ смущенно:—а записать ее туда... Такъ? Пстой... Ежели ее туда, то будетъ о здравіи, ежели же сюда, то за упокой... Совсѣмъ запутала баба! И этотъ еще воинъ Захарія встрялъ сюда... Шуть его принесъ... Ничего не разберу! Надо сызнава...

Дьячокъ лѣзетъ въ шкапчикъ и достаетъ оттуда осы-мушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарію, коли такъ...—говоритъ старуха. — Ужъ Богъ съ нимъ, выкинь...

— Молчи!

Дьячокъ макаетъ медленно перо и списываетъ съ обѣихъ бумажекъ имена на новый листокъ.

— Я ихъ всѣхъ гуртомъ зашину,—говоритъ онъ:—а ты носи къ отцу дьякону... Пущай дьяконъ разберетъ, кто здѣсь живой, кто мертвый; онъ въ семинаріи обучался, а я этихъ самыхъ дѣловъ... хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха беретъ бумажку, подаетъ дьячку старинныя полторы копейки и сѣменить къ алтарю.

ХИРУРГІЯ.

Земская больница. За отсутствіемъ доктора, уѣхавшаго жениться, больныхъ принимаетъ фельдшеръ Курятинъ, толстый человѣкъ, лѣтъ сорока, въ поношенной чечучовой жакеткѣ и въ истрепанныхъ триковыхъ брюкахъ. На лицѣ выраженіе чувства долга и пріятности. Между указательнымъ и среднимъ пальцами лѣвой руки—сигара, распространяющая зловоніе.

Въ пріемную входитъ дьячокъ Вонмигласовъ, высокій, коренастый старикъ, въ коричневой рясѣ и съ широкимъ кожанымъ поясомъ. Правый глазъ съ бѣльмомъ и полузакрытъ, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячокъ ищетъ глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылъ съ карболовымъ растворомъ, потомъ вынимаетъ изъ краснаго платочка просфору и съ поклономъ кладетъ ее передъ фельдшеромъ.

— А-а-а... мое вамъ!—зѣваетъ фельдшеръ.—Съ чѣмъ пожаловали?

— Съ воскреснымъ днемъ васъ, Сергѣй Кузьмичъ... Къ вашей милости... Истинно и правдиво въ псалтыри сказано, извините: «Питіе мое съ плачемъ растворяхъ». Сѣлъ намедни со старухой чай пить и — ни Боже мой, ни капельки, ни синь-пороха, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нѣту! А кромѣ того, что въ самомъ зубѣ, но и всю эту сторону... Такъ и ломить, такъ и ломить! Въ ухо отдаетъ, извините, словно въ немъ гвоздикъ или другой какой предметъ: такъ и стрѣляетъ, такъ и стрѣляетъ! Согрѣшихомъ и беззаконновахомъ... Студными

бо окаляхъ душу грѣхми и въ лѣности житіе мое иждихъ... За грѣхи, Сергѣй Кузьмичъ, за грѣхи! Отець іерей послѣ литургіи упрекаетъ: «Косноязыченъ ты, Ефимъ, и гутнивь сталъ. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тутъ пѣніе, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте ротъ!

Вонмигласовъ садится и раскрываетъ ротъ.

Курятинъ хмурится, глядитъ въ ротъ и среди пожелтѣвшихъ отъ времени и табаку зубовъ усматриваетъ одинъ зубъ, украшенный зияющимъ дупломъ.

— Отець діаконъ велѣли водку съ хрѣномъ прикладывать—не помогло. Гликерія Анисимовна, дай Богъ имъ здоровья, дали на руку ниточку носить съ Аѳонской горы, да велѣли теплымъ молокомъ зубъ полоскать, а я, признаться, ниточку-то надѣлъ, а въ отношеніи молока не соблюлъ: Бога боюсь, постъ...

— Предразсудокъ... (пауза). Вырвать его нужно, Ефимъ Михенчъ!

— Вамъ лучше знать, Сергѣй Кузьмичъ. На то вы и обучены, чтобъ это дѣло понимать какъ оно есть, что вырвать, а что каплями или прочимъ чѣмъ... На то вы, благодѣтели, и поставлены, дай Богъ вамъ здоровья, чтобы мы за васъ денно и нощно, отцы родные... по гробъ жизни...

— Пустяки...—скромничаетъ фельдшеръ, подходя къ шкапу и роясь въ инструментахъ.—Хирургія—пустяки... Тутъ во всемъ привычка, твердость руки... Разъ плюнуть... Намедни тоже, вотъ какъ и вы, призываетъ въ больницу помѣщикъ Александръ Ивановичъ Египетскій... Тоже съ зубомъ... Человѣкъ образованный, обо всемъ разспрашиваетъ, во все входитъ, какъ и что. Руку пожимаетъ, по имени и отчеству... Въ Петербургѣ семь лѣтъ жилъ, всѣхъ профессоровъ перенюхалъ... Долго мы съ нимъ тутъ... Христомъ-Богомъ молить: вырвите вы мнѣ его, Сергѣй Кузьмичъ! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тутъ понимать надо, безъ понятія нельзя... Зубы разные бываютъ. Одинъ рвешъ щипцами, другой козьею ножкой, третій ключомъ... Кому какъ.

Фельдшеръ беретъ козью ножку, минуту смотритъ на нее вопросительно, потомъ кладетъ и беретъ щипцы.

— Ну-съ, раскройте ротъ пошире...—говоритъ онъ, подходя съ щипцами къ дьячку.—Сейчасъ мы его... тово... Разъ

плюнуть... Десну подрѣзать только... тракцію сдѣлать по вертикальной оси... и все... (подрѣзываетъ десну) и все...

— Благодѣтели вы наши... Намъ, дуракамъ, и невдомекъ, а васъ Господь просвѣтилъ...

— Не разсуждайте, ежели у васъ ротъ раскрытъ... Этого легко рвать, а бываетъ такъ, что одни только корешки... Этого—разъ плюнуть... (накладываетъ щипцы). Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... Въ мгновеніе ока... (дѣлаетъ тракцію). Главное, чтобъ поглубже взять (тянетъ)... чтобъ коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать Пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... какъ его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянетъ). Сейчасъ... Вотъ, вотъ... Дѣло-то вѣдь не легкое...

— Отцы... радѣтели... (кричитъ) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лѣтъ тянешь?

— Дѣло-то вѣдь... хирургія... Сразу нельзя... Вотъ, вотъ...

Вонмигласовъ поднимаетъ колѣни до локтей, шевелитъ пальцами, выпучиваетъ глаза, прерывисто дышитъ... На багровомъ лицѣ его выступаютъ потъ, на глазахъ слезы. Курятинъ сопить, топчется передъ дьячкомъ и тянетъ... Проходятъ мучительнѣйшія полминуты—и щипцы срываются съ зуба. Дьячокъ вскакиваетъ и лѣзетъ пальцами въ ротъ. Во рту нащупываетъ онъ зубъ на старомъ мѣстѣ.

— Тянуть!—говоритъ онъ плачущимъ и въ то же время насмѣшливымъ голосомъ.—Чтобъ тебя такъ на томъ свѣтѣ потянуло! Благодаримъ покорно! Коли не умѣешь рвать, такъ не берись! Свѣта Божьяго не вижу...

— А ты зачѣмъ руками хватаешь?—сердится фельдшеръ.—Я тяну, а ты мнѣ подъ руку толкаешь и разныя глупыя слова... Дура!

— Самъ ты дура!

— Ты думаешь, мужикъ, легко зубъ-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полѣзъ да въ колокола отбарабанилъ! (дразнить) «Не умѣешь, не умѣешь!» Скажи, какой указчикъ нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвалъ, да и тотъ ничего, никакихъ словъ... Человѣкъ почище тебя, а не хваталъ руками... Садись! Садись, тебѣ говорю!

— Свѣта не вижу... Дай духъ перевести... Охъ! (садится).

Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученаго! Экій, Господи, народъ необразованный! Живи, вотъ, съ этакими... очумѣешь! Раскрой ротъ... (накладываетъ щипцы). Хирургія, братъ, не шутка... Это не на клиросѣ читать... (дѣлаетъ тракцію). Не дергайся... Зубъ выходитъ, застарѣлый, глубоко корни пустиль... (тянетъ). Не шевелись... Такъ... такъ... Не шевелись... Ну, ну... (слышнень хрустящій звукъ). Такъ и зналъ!

Вонмигласовъ сидитъ минуту неподвижно, словно безъ чувствъ. Онъ ошеломленъ... Глаза его тупо глядятъ въ пространство, на блѣдномъ лицѣ потъ.

— Было оъ мнѣ козьей ножкой...—бормочетъ фельдшеръ.—Этакая оказія!

Придя въ себя, дьячокъ суетъ въ ротъ пальцы и на мѣстѣ больного зуба находитъ два торчащихъ выступа.

— Паршивый чортъ...—выговариваетъ онъ.—Насажали жась здѣсь, продовъ, на нашу погибель!

— Поругайся мнѣ еще тутъ...—бормочетъ фельдшеръ, кладя въ шкапъ щипцы.—Невѣжа... Мало тебя въ бурсѣ березой потчивали... Господинъ Египетскій, Александръ Ивановичъ, въ Петербургѣ лѣтъ семь жилъ... образованность... одинъ костюмъ рублей сто стоитъ... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебѣ, не околѣешь!

Дьячокъ беретъ со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходитъ во-свояси...

ВИНТЪ.

Въ одну скверную осеннюю ночь Андрей Степановичъ Пересолинъ ѣхалъ изъ театра. Ѣхалъ онъ и размышлялъ о той пользѣ, какую приносили бы театры, если бы въ нихъ давались пьесы нравственнаго содержанія. Проѣзжая мимо правленія, онъ бросилъ думать о пользѣ и сталъ глядѣть на окна дома, въ которомъ онъ, выражаясь языкомъ поэтовъ и шкиперовъ, управлялъ рулемъ. Два окна, выходившія изъ дежурной комнаты, были ярко освѣщены.

«Неужели они до сихъ поръ съ отчетомъ возьмется?—подумалъ Пересолинъ.—Четыре ихъ тамъ дурака, и до сихъ поръ еще не кончили! Чего добраго, люди подумаютъ, что я имъ и ночью покою не даю. Пойду подгоню ихъ... Остановись, Гурій!»

Пересолинъ вылѣзъ изъ экипажа и пошелъ въ правленіе. Парадная дверь была заперта, задній же ходъ, имѣвшій одну только испортившуюся задвижку, былъ настезъ. Пересолинъ воспользовался послѣднимъ, и черезъ какую-нибудь минуту стоялъ уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолинъ, взглянувъ въ нее, увидѣлъ нѣчто необычайное. За столомъ, заваленнымъ большими счетными листами, при свѣтѣ двухъ лампъ, сидѣли четыре чиновника и играли въ карты. Сосредоточенные, неподвижные, съ лицами, окрашенными въ зеленый цвѣтъ отъ абажуровъ, они напоминали сказочныхъ гномовъ или, чего Боже избави, фальшивыхъ монетчиковъ... Еще болѣе таинственности придавала имъ ихъ игра. Судя по ихъ манерамъ и карточнымъ терминамъ, которые они изрѣдка вы-

крикивали, то былъ винтъ; судя же по всему тому, что слышалъ Пересолинъ, эту игру нельзя было назвать ни винтомъ, ни даже игрой въ карты. То было нѣчто пестрыя, странное и таинственное... Въ чиновникахъ Пересолинъ узналъ Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремѣя Недоѣхова и Ивана Писулина.

— Какъ же это ты ходишь, чортъ голландскій,—разсердился Звиздулинъ, съ остервенѣнїемъ глядя на своего партнера *vis-à-vis*.—Развѣ такъ можно ходить? У меня на рукахъ былъ Дороеевъ самъ-другъ, Шенелевъ съ женой да Степка Ерлаковъ, а ты ходишь съ Кофейкина. Вотъ мы и безъ двухъ! А тебѣ бы, садовая голова, съ Поганкина ходить!

— Ну, и что жъ тогда бѣ вышло?—окрысился партнеръ.—Я пошелъ бы съ Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолинъ на рукахъ.

«Мою фамилію къ чему-то приплели...—пожалъ плечами Пересолинъ.—Не понимаю!»

Писунинъ сдалъ снова и чиновники продолжали:

— Государственный банкъ...

— Два—казенная палата...

— Безъ козыря...

— Ты безъ козыря?? Гм!.. Губернское правленіе—два... Погибать—такъ погибать, шутъ возьми! Тотъ разъ на народномъ просвѣщеніи безъ одной остался, сейчасъ на губернскомъ правленіи нарвусь. Плевать!

— Маленькій шлемъ на народномъ просвѣщеніи!

«Не понимаю!»—прошепталъ Пересолинъ.

— Хожу со статскаго... Бросай, Валя, какого-нибудь титуляшку или губернскаго.

— Зачѣмъ намъ титуляшку? Мы и Пересолинымъ хватимъ...

— А мы твоего Пересолина по зубамъ... по зубамъ... У насъ Рыбниковъ есть. Быть вамъ безъ трехъ! Показывайте Пересолиху! Нечего вамъ ее, каналью, за обилагъ прятать!

«Мою жену затрогали...—подумалъ Пересолинъ...—Не понимаю».

И, не желая долѣе оставаться въ недоумѣніи, Пересолинъ открылъ дверь и вошелъ въ дежурную. Если бы передъ чиновниками явился самъ чортъ съ рогами и съ хвостомъ, то онъ не удивилъ бы и не испугалъ такъ, какъ испугалъ

и удивилъ ихъ начальникъ. Явись передъ ними умершій въ прошломъ году экзекуторъ, проговори онъ имъ гробовымъ голосомъ: «Идите за мной, аггелы, въ мѣсто, уготованное канальямъ», и дыхни онъ на нихъ холодомъ могилы, они не поблѣднѣли бы такъ, какъ поблѣднѣли, узнавъ Пересолина. У Недоѣхова отъ перепугу даже кровь изъ носа пошла, а у Кулакевича забарабанило въ правомъ ухѣ и самъ собою развязался галстукъ. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на полъ. Минуту въ дежурной царила тишина...

— Хорошо же вы отчетъ переписываете!—началъ Пересолинъ.—Теперь понятно, почему вы такъ любите съ отчетомъ возиться... Что вы сейчасъ дѣлали?..

— Мы только на минутку, ваше—ство...—прошенталь Звиздулинъ.—Карточки разсматривали... Отдыхали...

Пересолинъ подошелъ къ столу и медленно пожалъ плечами. На столѣ лежали не карты, а фотографическія карточки обыкновеннаго формата, снятыя съ картона и наклеенныя на игральныя карты. Карточекъ было много. Разсматривая ихъ, Пересолинъ увидѣлъ себя, свою жену, много своихъ подчиненныхъ, знакомыхъ...

— Какая чепуха... Какъ же вы это играете?

— Это не мы, ваше—ство, выдумали... Сохрани Богъ.. Это мы только примѣръ взяли...

— Объясни-ка, Звиздулинъ! Какъ вы играли? Я все видѣлъ и слышалъ, какъ вы меня Рыбниковымъ били... Ну, чего мнешься? Вѣдь я тебя не ѣмъ? Разсказывай!

Звиздулинъ долго стѣснялся и трусилъ. Наконецъ, когда Пересолинъ сталъ сердиться, фыркать и краснѣть отъ нетерпѣнія, онъ послушался. Собравъ карточки и перетасовавъ, онъ разложилъ ихъ по столу и началъ объяснять:

— Каждый портретъ, ваше—ство, какъ и каждая карта, свою суть имѣетъ... значеніе. Какъ и въ колодѣ, такъ и здѣсь 52 карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты—черви, губернское правленіе—трефы, служащіе по министерству народнаго просвѣщенія—бубны, а пиками будетъ отдѣленіе государственнаго банка. Ну-съ... Дѣйствительные статскіе совѣтники у насъ тузы, статскіе совѣтники—короли, супруги особъ IV и V класса—дамы, коллежскіе совѣтники—валеты, надворные совѣтники—десятки.

и такъ далѣе. Я, напримѣръ,—вотъ моя карточка,—тройка, такъ какъ, будучи губернской секретарь...

— Ишь ты... Я, стало-быть, тузъ?

— Трефовый-съ, а ея превосходительство—дама-съ...

— Гм!.. Это оригинально... А ну-ка, давайте сыграемъ! Посмотрю...

Пересолинъ снялъ пальто и, недовѣрчиво улыбаясь, сѣлъ за столъ. Чиновники тоже сѣли по его приказанію, и игра началась...

Сторожъ Назаръ, пришедшій въ семь часовъ утра мести дежурную комнату, былъ пораженъ. Картина, которую увидалъ онъ, войдя со щеткой, была такъ поразительна, что онъ помнитъ ее теперь даже тогда, когда, напившись пьянъ, лежить въ безпамятствѣ. Пересолинъ, блѣдный, сонный и непричесанный, стоялъ передъ Недоѣховымъ и, держа его за пуговицу, говорилъ:

— Пойми же, что ты не могъ съ Шенелева ходить, если зналъ, что у меня на рукахъ я самъ-четверть. У Звиздулина Рыбниковъ съ женой, три учителя гимназій, да моя жена, у Недоѣхова банковцы и три маленькихъ изъ губернской управы. Тебѣ бы нужно было съ Крышкина ходить! Ты не гляди, что они съ казенной палаты ходятъ! Они себѣ на умъ!

— Я, ваше--ство, пошелъ съ титулярнаго, потому думалъ, что у нихъ дѣйствительный.

— Ахъ, голубчикъ, да вѣдь такъ нельзя думать! Это не игра! Такъ играютъ одни только сапожники. Ты разсуждай!.. Когда Кулакевичъ пошелъ съ надворнаго губернскаго правленія, ты долженъ былъ бросать Ивана Ивановича Гренландскаго, потому что зналъ, что у него Наталья Дмитріевна самъ-третьей съ Егоръ Егорычемъ... Ты все испортилъ! Я тебѣ сейчасъ докажу. Садитесь, господа, еще одинъ роберъ сыграемъ!

И, уславши удивленнаго Назара, чиновники успѣлись и продолжали игру.

КАПИТАНСКІЙ МУНДИРЪ.

Восходящее солнце хмурилось на уѣздный городъ, пѣтухи еще только потягивались, а между тѣмъ въ кабакъ дяди Рылкина уже были посѣтители. Ихъ было трое: портной Меркуловъ, городской Жратва и казначейскій разсылный Смѣхуновъ. Всѣ трое были выпивши.

— Не говори! И не говори!—разсуждалъ Меркуловъ, держа городского за пуговицу. — Чинъ гражданскаго вѣдомства, ежели взять котораго повыше, въ портняжномъ смыслѣ за- всегда утретъ носъ генералу. Взять таперича хотя камергера... Чтѣ это за человѣкъ? Какого званія? А ты считай... Четыре аршина сукна наилучшаго фабрики Прюнделя съ сыновьями, пугови, золотой воротникъ, штаны бѣлые съ золотымъ лампасомъ, всѣ груди въ золотѣ, на воротѣ, на рукавахъ и на клапанахъ блескъ! Таперича ежели шить на господъ гофмейстеровъ, шталмейстеровъ, церемоніймейстеровъ и прочихъ министерій... Ты какъ понимаешь? Помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеныча Волляревскаго. Мундиръ—не подходи! Берешься за него руками, а въ жилкахъ пульса—цикъ! цикъ! Настоящіе господа, ежели шьютъ, то не смѣй ихъ беспокоить. Снял мѣрку и шей, а ходитъ примѣривать да прифасониваться никакъ невозможно. Ежели ты стоющій портной, то сразу по мѣркѣ сдѣлай... Съ колокольни спрыгни, въ сапоги попади—вѣ какъ! А около насъ былъ, братецъ ты мой, какъ теперь помню, жандармскій корпусъ... Хозяинъ нашъ Осипъ Якличъ и выбиралъ изъ жандармовъ, которые подходящіе, чтобъ заказчику подѣ корпусъ подходили, для примѣрки.

Ну-съ, это самое... выбрали мы, братецъ ты мой, для графскаго мундира одного подходящаго жандармика. Позвали... Надѣвай, харя, и чувствуй!.. Потѣха! Надѣлъ онъ, это самое, мундиръ таперя, поглядѣлъ на груди—и что жь! Обомлѣлъ, знаешь, затрепеталъ, безъ чувствъ...

— А на исправниковъ шили?—освѣдомился Смѣхуновъ.

— Эко-ся, важная птица! Въ Петербургѣ исправниковъ этихъ, какъ собакъ нерѣзанныхъ... Тутъ передъ ними шапку ломаютъ, а тамъ—«посторонись, чево прешь!» Шили мы на господъ военныхъ, да на особъ первыхъ четырехъ классовъ. Особа особѣ рознь... Ежели ты, положимъ, пятого класса, то ты—пустяки... Приходи черезъ недѣлю и все готово—потому, окромя воротника и нарукавниковъ, ничего... А ежели который четвертаго класса, или третьяго, или, положимъ, второго, тутъ ужъ хозяинъ всѣмъ въ зубы и бѣги въ жандармскій корпусъ. Шили мы разъ, братецъ ты мой, на персидскаго консула. Нашили мы ему на грудяхъ и на спинѣ золотыхъ креиделей на полторы тыщи. Думали, что не отдастъ; анъ нѣтъ, заплатилъ... Въ Петербургѣ даже и въ татарахъ благородство есть.

Долго рассказывалъ Меркуловъ. Въ девятомъ часу онъ, подъ вліяніемъ воспоминаній, заплакалъ и сталъ горько жаловаться на судьбу, загнавшую его въ городишко, наполненный одними только купцами и мѣщанами. Городовой отвелъ уже двоихъ въ полицію, разсыльный уходилъ два раза на почту и въ казначейство и опять приходилъ, а онъ все жаловался. Въ полдень онъ стоялъ передъ дьячкомъ, билъ себя кулакомъ по груди и ропталъ:

— Не желаю я на хамовъ пить! Не согласенъ! Въ Петербургѣ я самолично на барона Шпупеля и на господъ офицеровъ шилъ! Отойди отъ меня, длиннополая кутья, чтобъ я тебя не видѣлъ своими глазами! Отойди!

— Возмечтали вы о себѣ высоко, Трифонъ Пантелѣвичъ,—убѣждалъ портного дьячокъ.—Хоть вы и артистъ въ своемъ цехѣ, но Бога и религію не должны забывать. Арій возмечталъ въ родѣ, какъ вы, и померъ поносною смертію. Ой, помрете и вы!

— И помру! Пущай лучше помру, чѣмъ зипуны пить!

— Мой анаеема здѣсь?—послышался вдругъ за дверью бабій голосъ, и въ кабакъ вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба съ подсученными рукавами и перетянутымъ

животомъ.—Гдѣ онъ, идолъ?—окинула она негодующимъ взоромъ посѣтителей.—Иди домой, чтобъ тебя разорвало, тамъ тебя какой-то офицеръ спрашиваетъ!

— Какой офицеръ?—удивился Меркуловъ.

— А шутъ его знаетъ! Сказываетъ, заказать пришелъ.

Меркуловъ почесалъ всея пятерней свой большой носъ, что онъ дѣлалъ всякій разъ, когда хотѣлъ выразить крайнее изумленіе, и пробормоталъ:

— Бѣлены баба объѣлась... Пятнадцать годовъ не видалъ лица благороднаго и вдругъ нынче, въ постный день—офицеръ съ заказомъ! Гм!.. Пойти поглядѣть...

Меркуловъ вышелъ изъ кабака и, спотыкаясь, побрелъ домой... Жена не обманула его. У порога своей избы онъ увидѣлъ капитана Урчаева, дѣлопроизводителя мѣстнаго воинскаго начальника.

— Ты гдѣ это шатаешься?—встрѣтилъ его капитанъ.—Цѣлый часъ жду... Можешь мнѣ мундиръ сшить?

— Ваше благор... Господи!—забормоталъ Меркуловъ, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вмѣстѣ съ клочкомъ волосъ.—Ваше благородіе! Да нешто впервой мнѣ это самое? Ахъ Господи! На барона Шпуделя шиль... Эдуарда Карлыча... господинъ подпоручикъ Зембулатовъ до сей поры мнѣ десять рублей долженъ. Ахъ! Жена, да дай же его благородію стульчикъ, побей меня Богъ... Прикажете мѣрочку снять, или дозволите шить на глазомѣръ?

— Ну-съ... Твое сукно и чтобъ черезъ недѣлю было готово... Сколько возьмешь?

— Помилуйте, ваше благородіе... Что вы-съ,—усмѣхнулся Меркуловъ.—Я не купецъ какой-нибудь. Мы вѣдь понимаемъ, какъ съ господами... Когда на консула персидскаго шили, и то безъ словъ...

Снявши съ капитана мѣрку и проводивъ его, Меркуловъ цѣлый часъ стоялъ посреди избы и съ отупѣніемъ глядѣлъ на жену. Ему не вѣрилось...

— Вѣдь этакая, скажи на милость, оказія!—проворчалъ онъ наконецъ.—Гдѣ же я денегъ возьму на сукно? Аксиныя, дай-ка, братецъ ты мой, мнѣ въ кредитъ тѣ деньги, что за корову выручили!

Аксиныя показала ему кукишъ и плюнула. Немного погодя, она работала кочергой, била на мужниной головѣ горшки, таскала его за бороду, выбѣгала на улицу и кри-

чала: «Ратуйте, кто въ Бога вѣруетъ! Убили!» Но ни къ чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала въ постели и прятала отъ подмастерій свои синяки, а Меркуловъ ходилъ по лавкамъ и, ругаясь съ кушцами, выбиралъ подходящее сукно.

Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утромъ и обводя мутными глазами свой маленькій мірокъ, онъ уже не плевалъ съ остервенѣніемъ... А что диковиннѣе всего, онъ пересталъ ходить въ кабакъ и занялся работой. Тихо помолвившись, онъ надѣвалъ большіе стальные очки, хмурился и священнодѣйственно раскладывалъ на столѣ сукно.

Черезъ недѣлю мундиръ былъ готовъ. Выгладивъ его, Меркуловъ вышелъ на улицу, повѣсилъ на плетень и занялся чисткой; сниметъ пушинку, отойдетъ на сажень, щурится долго на мундиръ и опять сниметъ пушинку—и такъ часа два.

— Бѣда съ этими господами!—говорилъ онъ прохожимъ.— Нѣтъ ужъ больше моей возможности, замучился! Образованные, деликатные—подика-съ угоди.

На другой день послѣ чистки Меркуловъ помазалъ голову масломъ, причесался, завернулъ мундиръ въ новый коленкоръ и отправился къ капитану.

— Некогда мнѣ съ тобой, остолономъ, разговаривать!—останавливалъ онъ каждаго встрѣчнаго.— Нешто не видишь, что мундиръ къ капитану несу?

Черезъ полчаса онъ воротился отъ капитана.

— Съ полученіемъ васъ, Трифонъ Пантелѣичъ!—встрѣтила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись.

— Ну, и дура!—отвѣтилъ ей мужъ.— Нешто настоящіе господа платятъ сразу? Это не купецъ какой-нибудь—взялъ да тебѣ сразу и вывалилъ! Дура...

Дня два Меркуловъ лежалъ на печи, не шлъ, не ѣлъ, и предавался чувству самоудовлетворенія, точь-въ-точь какъ Гераклъ по совершеніи всѣхъ своихъ подвиговъ. На третій онъ отправился за получкой.

— Ихъ благородіе вставши?—прошепталъ онъ, вползая въ переднюю и обращаясь къ денщику.

И получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ сталъ столбомъ у косяка и принялся ждать.

— Гони въ шею! Скажи, что въ субботу!—услышалъ онъ, послѣ продолжительнаго ожиданія, хриплѣнне капитана.

То же самое услышалъ онъ въ субботу, въ одну, потомъ въ другую... Цѣлый мѣсяцъ ходилъ онъ къ капитану, высиживалъ долгіе часы въ передней и вмѣсто денегъ получалъ приглашеніе убираться къ чорту и придти въ субботу. Но онъ не унывалъ, не ропталъ, а напротивъ... Онъ даже пополнилъ. Ему нравилось долгое ожиданіе въ передней, «гони въ шею» звучало въ его ухахъ сладкой мелодіей.

— Сейчасъ узнаешь благороднаго!—восторгался онъ всякій разъ, возвращаясь отъ капитана домой. — У насъ въ Питерѣ всѣ такіе были...

До конца дней своихъ согласился бы Меркуловъ ходить къ капитану и ждать въ передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученные за корову.

— Принесъ деньги?—встрѣчала она его каждый разъ.— Нѣтъ? Что же ты со мной дѣлаешь, песъ лютый? А?.. Митька, гдѣ кочерга?

Однажды подъ вечеръ Меркуловъ шелъ съ рынка и тащилъ на спинѣ кулъ съ углемъ. За нимъ торопилась Аксинья.

— Ужо будетъ тебѣ дома на орѣхи! Погоди,—бормотала она, думая о деньгахъ, вырученныхъ за корову.

Вдругъ Меркуловъ остановился, какъ вкопанный, и радостно вскрикнулъ. Изъ трактира «Веселіе», мимо котораго они шли, опреметью выбѣжалъ какой-то господинъ въ цилиндрѣ, съ краснымъ лицомъ и пьяными глазами. За нимъ гнался капитанъ Урчаевъ съ кіемъ въ рукѣ, безъ шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундиръ его былъ весь въ мѣлу, одна погона глядѣла въ сторону.

— Я заставлю тебя играть, шулеръ!—кричалъ капитанъ, неистово махая кіемъ и утирая со лба потъ. — Я научу тебя, протобестія, какъ играть съ порядочными людьми!

— Поглядика-съ, дура!—зашенталъ Меркуловъ, толкая жену подъ локоть и хихикая.—Сейчасъ видать благороднаго. Купецъ ежели что сошьетъ для своего мужицкаго рыла, такъ и сносу нѣтъ, лѣтъ десять таскаетъ, а этоть ужъ истрепалъ мундиръ! Хоть новый шей!

— Поди попроси у него деньги!—сказала Аксинья.—Поди!

— Что ты, дура! На улицѣ? И ни-ни...

Какъ ни противился Меркуловъ, но жена заставила его подойти къ разсвирѣпѣвшему капитану и заговорить о деньгахъ.

— Пошелъ вонъ! — отвѣтилъ ему капитанъ. — Ты мнѣ надоѣлъ!

— Я, ваше благородіе, понимаю-съ... Я ничего-съ... но жена... неразумная тварь... Сами знаете, какой умъ въ головѣ у ихняго бабьяго званія...

— Ты мнѣ надоѣлъ, говорятъ тебѣ! — взревѣлъ капитанъ, тараща на него пьяные, мутные глаза. — Пошелъ прочь!

— Понимаю, ваше благородіе! Но я касательно бабы, потому, изволите знать, деньги-то коровьи... Отцу Іудѣ корову продали...

— А-а-а... ты еще разговаривать, тля!

Капитанъ размахнулся и — трахъ! Со спины Меркулова посыпался уголь, изъ глазъ — искры, изъ рукъ выпала шапка... Аксиныя обомлѣла.. Минуту стояла она неподвижно, какъ Лотова жена, обращенная въ соляной столбъ, потомъ зашла впередъ и робко взглянула на лицо мужа... Къ ея великому удивленію, на лицѣ Меркулова плавала блаженная улыбка, на смѣющихся глазахъ блестя слезы...

— Сейчасъ видать настоящихъ господъ! — бормоталъ онъ. — Люди деликатные, образованные... Точь-въ-точь, бывало... по самому этому мѣсту, когда носилъ шубу къ барону Шпунцелю, Эдуарду Карлычу... Размахнулись и — трахъ! И господинъ подпоручикъ Зембулатовъ тоже... Пришелъ къ нимъ, а они вскочили и изо всей мочи... Эхъ, прошло, жена, мое время! Не понимаешь ты ничего! Прошло мое время!

Меркуловъ махнулъ рукой и, собравъ уголь, побрелъ домой.

ЖИВАЯ ХРОНОЛОГІЯ.

Гостиная статскаго совѣтника Шарамыкина окутана пріятнымъ полумракомъ. Большая бронзовая лампа съ зеленымъ абажуромъ красить въ зелень à la «украинская почъ» стѣны, мебель, лица... Изрѣдка въ потухающемъ каминѣ вспыхиваетъ тлѣющее полѣно и на мгновеніе заливаешь лица цвѣтомъ пожарнаго зарева; но это не портитъ общей свѣтовой гармоніи. Общій тонъ, какъ говорятъ художники, выдержанъ.

Передъ каминомъ въ креслѣ, въ позѣ только что пообѣдавашаго человѣка, сидитъ самъ Шарамыкинъ, пожилой господинъ съ сѣдыми чиновничьими бакенами и съ кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нѣжность, губы сложены въ грустную улыбку. У его ногъ, протянувъ къ камину ноги и лѣниво потягиваясь, сидитъ на скамеечкѣ вице-губернаторъ Лопневъ, бравый мужчина, лѣтъ сорока. Около піанино взятыя дѣти Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Изъ слегка отворенной двери, ведущей въ кабинетъ г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свѣтъ. Тамъ за дверью, за своимъ письменнымъ столомъ сидитъ жена Шарамыкина, Анна Павловна, предсѣдательница мѣстнаго дамскаго комитета, живая и пикантная дамочка, лѣтъ тридцати съ хвостикомъ. Ея черные, бойкіе глазки бѣгаютъ сквозь пенсне по страницамъ французскаго романа. Подъ романомъ лежитъ растрепанный комитетскій отчетъ за прошлый годъ.

— Прежде нашъ городъ въ этомъ отношеніи былъ счастливѣе,—говоритъ Шарамыкинъ, щура свои кроткіе глаза

на тлѣющіе уголья. — Ни одной зимы не проходило безъ того, чтобы не прїѣзжала какая-нибудь звѣзда. Бывали и знаменитые актеры, и пѣвцы, а нынче... чортъ знаетъ что! кромѣ фокусниковъ да шарманщиковъ никто не наѣзжаетъ. Никакого эстетическаго удовольствія... Живемъ, какъ въ лѣсу. Да-съ... А помните, ваше превосходительство, того итальянскаго трагика... какъ его?... еще такой брѣнетъ, высокій... Дай Богъ память... Ахъ, да! Лунджи-Эрнесто-де-Руджіеро... Талантъ замѣчательный... Сила! Одно слово скажетъ, бывало, и театръ ходоромъ ходитъ. Моя Анюточка принимала большое участіе въ его талантѣ. Она ему и театръ выхлопотала, и билеты на десять спектаклей распродала... Онъ ее за это декламациі и мимикѣ училъ. Душа человѣкъ! Прїѣзжалъ онъ сюда... чтобъ не соврать... лѣтъ двѣнадцать тому назадъ... Нѣтъ, вру... Меньше, лѣтъ десять... Анюточка, сколько нашей Нинѣ лѣтъ?

— Десятый годъ! — кричитъ изъ своего кабинета Анна Павловна. — А что?

— Ничего, мамочка, это я такъ... И пѣвцы хорошіе прїѣзжали, бывало... Помните вы *tenore di grazia* Прилипчаина? Что за душа человѣкъ! Что за наружность! Блондинъ... лицо этакое выразительное, манеры парижскія... А что за голосъ, ваше превосходительство! Одна только бѣда: нѣкоторыя ноты желудкомъ пѣлъ и «ре» фистулой бралъ, а то все хорошо. У Тамберлика, говорилъ, учился... Мы съ Анюточкой выхлопотали ему залу въ общественномъ собраніи, и въ благодарность за это онъ, бывало, намъ цѣлые дни и ночи распѣвалъ... Анюточку пѣтъ училъ... Прїѣзжалъ онъ, какъ теперь помню, въ великомъ посту, лѣтъ... лѣтъ двѣнадцать тому назадъ. Нѣтъ, больше... Вотъ память, прости Господи! Анюточка, сколько нашей Надечкѣ лѣтъ?

— Двѣнадцать!

— Двѣнадцать... ежели прибавить десять мѣсяцевъ... Ну, такъ и есть... тринадцать!.. Прежде у насъ въ городѣ какъ-то и жизни больше было... Взять къ примѣру хоть благотворительные вечера. Какіе прекрасные бывали у насъ прежде вечера. Что за прелесть! И поютъ, и играютъ, и читаютъ... Послѣ войны, помню, когда здѣсь плѣнные турки стояли, Анюточка дѣлала вечеръ въ пользу раненныхъ. Собрали тысячу сто рублей... Турки-офицеры, помню, безъ

ума были отъ Анюточкина голоса и все ей руку цѣловали. Хе, хе... Хоть и азіаты, а признательная нація. Вечерь до того удался, что я, вѣрите ли, въ дневникъ записалъ. Это было, какъ теперъ помню, въ... семьдесятъ шестомъ... нѣтъ! въ семьдесятъ седьмомъ... Нѣтъ! Позвольте, когда у насъ турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечкѣ лѣтъ?

— Миѣ, папа, семь лѣтъ!—говорить Коля, черномазый мальчуганъ съ смуглымъ лицомъ и черными, какъ уголь, волосами.

— Да, постарѣли и энергій той ужъ нѣтъ!..—соглашается Лопневъ, вздыхая.—Вотъ гдѣ причина... Старость, батенька! Новыхъ иниціаторовъ нѣтъ, а старые состарились... Нѣтъ ужъ того огня. Я, когда былъ помоложе, не любилъ, чтобъ общество скучало... Я былъ первымъ помощникомъ вашей Анны Павловны... Вечерь ли съ благотворительною цѣлью устроить, лотерею ли, пріѣзжую ли знаменитость поддержать—все бросалъ и начиналъ хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набѣгался, что даже заболѣлъ... Не забыть мнѣ этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы съ вашей Анной Павловной въ пользу погорѣльцевъ?

— Да это въ какомъ году было?

— Не очень давно... Въ семьдесятъ девятомъ... Нѣтъ въ восьмидесятомъ, кажется! Позвольте, сколько вашему Ванѣ лѣтъ?

— Пять!—кричитъ изъ кабинета Анна Павловна.

— Ну, стало-быть, это было шесть лѣтъ тому назадъ... Да-съ, батенька, были дѣла! Теперъ ужъ не то! Нѣтъ того огня!

Лопневъ и Шарамыкинъ задумываются. Тлѣющее полѣно вспыхиваетъ въ послѣдній разъ и подергивается непломъ.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАКЪ.

(Святочный рассказъ.)

Въ ночь подъ Рождество Ефимъ Ѳомичъ Перекладинъ, коллежскій секретарь, легъ спать обиженный и даже оскорбленный.

— Отвяжись ты, нечистая сила!—рявкнулъ онъ со злобой на жену, когда та спросила, отчего онъ такой хмурый.

Дѣло въ томъ, что онъ только-что вернулся изъ гостей, гдѣ сказано было много неприятныхъ и обидныхъ для него вещей. Сначала заговорили о пользѣ образованія вообще, потомъ же незамѣтно перешли къ образовательному цензу служащей братіи, причемъ было высказано много сожалѣній, упрековъ и даже насмѣшекъ по поводу низкаго уровня. И тутъ, какъ это водится во всѣхъ російскихъ компаніяхъ, съ общихъ матерій перешли къ личностямъ.

— Взять, на примѣръ, хоть васъ, Ефимъ Ѳомичъ,—обратился къ Перекладину одинъ юноша.—Вы занимаете личное мѣсто... а какое образованіе вы получили?

— Никакого-съ. Да у насъ образованіе и не требуется,—кратко отвѣтилъ Перекладинъ.—Пиши правильно, вотъ и все...

— Гдѣ же это вы правильно писать-то научились?

— Привыкъ-съ... За сорокъ лѣтъ службы можно руку набить-съ... Оно, конечно, спервоначалу трудно было, дѣлываль ошибки, но потомъ привыкъ-съ... и ничего...

— А знаки препинанія?

— И знаки препинанія ничего... Правильно ставлю.

— Гм!..—сконфузился юноша.—Но привычка совсѣмъ не то, что образованіе. Мало того, что вы знаки препи-

нанія правильно ставите... мало-съ! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите... да-съ! А это ваше бессознательное... рефлекторное правописание и гроша не стоитъ. Это машинное производство и больше ничего.

Переключинъ смолчалъ и даже кротко улыбнулся (юноша былъ сынъ статскаго совѣтника и самъ имѣлъ право на чинъ X класса), но теперь, ложась спать, онъ весь обратился въ негодованіе и злобу.

«Сорокъ лѣтъ служилъ,—думалъ онъ:—и никто меня дуракомъ не называлъ, а тутъ, поди ты, какіе критики нашлись! «Бессознательно!.. Лефлекторно! Машинное производство»... Ахъ, ты, чортъ тебя возьми! Да я еще, можетъ-быть, больше тебя понимаю, даромъ что въ твоихъ университетахъ не былъ!»

Изливъ мысленно по адресу критика всѣ извѣстныя ему ругательства и согрѣвшись подъ одеяломъ, Переключинъ сталъ успокаиваться.

«Я знаю... понимаю... —думалъ онъ, засыпая.— Не поставлю тамъ двоеточія, гдѣ запятую нужно, стало-быть, сознаю, понимаю. Да... Такъ-то, молодой человѣкъ... Сначала пожить нужно, послужить, а потомъ ужъ стариковъ судить»...

Въ закрытыхъ глазахъ засыпавшаго Переключина сквозь толпу темныхъ, улыбавшихся облаковъ метеоромъ пролетѣла огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный, темный фонъ, разстлавшійся передъ его воображеніемъ, покрылся густыми толпами летавшихъ запятыхъ...

«Хоть эти запятая взять... —думалъ Переключинъ, чувствуя, какъ его члены сладко нѣмѣютъ отъ наступавшаго сна.—Я ихъ отлично понимаю... Для каждой могу мѣсто найти, ежели хочешь... и... и сознательно, а не зря... Экзаменуи, и увидишь... Запятая ставятся въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ надо, гдѣ и не надо. Чѣмъ путаннѣ бумага выходитъ, тѣмъ больше запятыхъ нужно. Ставятся онѣ передъ «который» и передъ «что». Ежели въ бумагѣ перечислять чиновниковъ, то каждого изъ нихъ надо запятой отдѣлять... Знаю!»

Золотыя запятая завертѣлись и унеслись въ сторону. На ихъ мѣсто прилетѣли огненные точки..

«А точка въ концѣ бумаги ставится... Гдѣ нужно большую передышку сдѣлать и на слушателя взглянуть, тамъ тоже точка. Послѣ всѣхъ длинныхъ мѣстъ нужно точку, чтобъ секретарь, когда будетъ читать, слюной не истекъ. Больше же нигдѣ точка не ставится...»

Опять налетаютъ запятыя... Онѣ мѣшаются съ точками, кружатся — и Перекладинъ видитъ цѣлое сонмище точекъ съ запятой и двоеточій...

«И этихъ знаю...—думаетъ онъ.—Гдѣ запятой мало, а точки много, тамъ надо точку съ запятой. Передъ «но» и «слѣдственно» всегда ставлю точку съ запятой... Ну-съ, а двоеточіе? Двоеточіе ставится послѣ словъ «постановили», «рѣшили»...

Точки съ запятой и двоеточія потухли. Наступила очередь вопросительныхъ знаковъ. Эти выскочили изъ облаковъ и забанканировали...

«Эка невидаль: знакъ вопросительный! Да хоть тысяча ихъ, всѣмъ мѣсто найду. Ставятся они всегда, когда запросъ нужно дѣлать или, положимъ, о бумагахъ справиться... «Куда отнесенъ остатокъ суммъ за такой-то годъ?» или— «Не найдеть ли полицейское управленіе возможнымъ оную Иванову и проч.?.»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по командѣ, вытянулись въ знаки восклицательные...

«Гм!.. Этотъ знакъ препинанія въ письмахъ часто ставится. «Милостивый государь мой!» или «Ваше превосходительство, отецъ и благодѣтель!..» А въ бумагахъ когда?

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились въ ожиданіи...

«Въ бумагахъ они ставятся, когда... тово... этого... какъ его? Гм!.. Въ самомъ дѣлѣ, когда же ихъ въ бумагахъ ставить? Постой... дай Богъ память... Гм!..»

Перекладинъ открылъ глаза и повернулся на другой бокъ. Но не успѣлъ онъ вновь закрыть глаза, какъ на темномъ фонѣ опять появились восклицательные знаки.

«Чортъ ихъ возьми... Когда же ихъ ставить нужно? — подумалъ онъ, стараясь выгнать изъ своего воображенія непрошенныхъ гостей.— Неужели забыть? Или забыть, или же... никогда ихъ не ставилъ...»

Перекладинъ сталъ припоминать содержаніе всѣхъ бу-

магъ, которая онъ написалъ за сорокъ лѣтъ своего служенія; но какъ онъ ни думалъ, какъ ни морщилъ лобъ, въ своемъ прошломъ онъ не нашелъ ни одного восклицательнаго знака.

«Что за оказія! Сорокъ лѣтъ писалъ и ни разу восклицательнаго знака не поставилъ... Гм!.. Но когда же онъ, чортъ длинный, ставится?»

Изъ-за ряда огненныхъ восклицательныхъ знаковъ показалась ехидно смѣющаяся рожа юноши-критика. Самыя знаки улыбнулись и слились въ одинъ большой восклицательный знакъ.

Перекладинъ встряхнулъ головой и открылъ глаза.

«Чортъ знаетъ что...—подумалъ онъ.—Завтра къ утрени вставать надо, а у меня это чертобѣсие изъ головы не выходитъ... Тьфу! Но... когда же онъ ставится? Вотъ тебѣ и привычка! Вотъ тебѣ и набилъ руку! За сорокъ лѣтъ ни одного восклицательнаго! А?»

Перекладинъ перекрестился и закрылъ глаза, но тотчасъ же открылъ ихъ; на темномъ фонѣ все еще стоялъ большой знакъ...

«Тьфу! Этакъ всю ночь не уснешь». — Марюша! — обратился онъ къ своей женѣ, которая часто хвасталась тѣмъ, что кончила курсъ въ пансіонѣ. — Ты не знаешь ли, душенька, когда въ бумагахъ ставится восклицательный знакъ?

— Еще бы не знать! Недаромъ въ пансіонѣ семь лѣтъ училась. Наизусть всю грамматику помню. Этотъ знакъ ставится при обращеніяхъ, восклицаніяхъ и при выраженіяхъ восторга, негодованія, радости, гнѣва и прочихъ чувствъ.

«Тэкъ-съ...—подумалъ Перекладинъ.—Восторгъ, негодованіе, радость, гнѣвъ и прочія чувства...»

Кодлежскій секретарь задумался... Сорокъ лѣтъ писалъ онъ бумаги, написалъ онъ ихъ тысячи, десятки тысячъ, но не помнить ни одной строки, которая выражала бы восторгъ, негодованіе или что-нибудь въ этомъ родѣ...

«И прочія чувства...—думалъ онъ.—Да нешто въ бумагахъ нужны чувства? Ихъ и безчувственный писать можетъ...»

Рожа юноши-критика опять выглянула изъ-за огненнаго знака и ехидно улыбнулась. Перекладинъ поднялся и сѣлъ

на кровати. Голова его болѣла, на лбу выступилъ холодный потъ... Въ углу ласково теплилась лампадка, мебель глядѣла празднично, чистенько, отъ всего такъ и вѣяло тепломъ и присутствіемъ женской руки, но бѣдному чиновнѣ было холодно, неуютно, точно онъ заболѣлъ тифомъ. Знакъ восклицательный стоялъ уже не въ закрытыхъ глазахъ, а передъ нимъ, въ комнатѣ, около женинаго туалета и насмѣшливо мигалъ ему...

— Пишущая машина! Машина! — шептало привидѣніе, дую на чиновника сухимъ холодомъ. — Деревяжка безчувственная!

Чиновникъ укрылся одѣяломъ, но и подъ одѣяломъ онъ увидѣлъ привидѣніе; прильнулъ лицомъ къ жениному плечу, и изъ-за плеча торчало то же самое... Всю ночь промучился бѣдный Перекладинъ, но и днемъ не оставило его привидѣніе. Онъ видѣлъ его всюду: въ надѣваемыхъ сапогахъ, въ блюдечкѣ съ чаемъ, въ Станиславѣ...

«И прочія чувства...—думалъ онъ.—Это правда, что никакихъ чувствъ не было... Пойду сейчасъ къ начальству расписываться... а развѣ это съ чувствами дѣлается? Такъ, зря... Поздравительная машина...»

Когда Перекладинъ вышелъ на улицу и крикнулъ извозчика, то ему показалось, что вмѣсто извозчика подкатилъ восклицательный знакъ.

Придя въ переднюю начальника, онъ вмѣсто швейцара увидѣлъ тотъ же знакъ... И все это говорило ему о восторгѣ, негодованіи, гнѣвѣ... Ручка съ перомъ тоже глядѣла восклицательнымъ знакомъ. Перекладинъ взялъ ее, обмакнулъ перо въ чернила и расписался:

«Коллежскій секретарь Ефимъ Перекладинъ!!!»

И ставя эти три знака, онъ восторгался, негодовалъ, радовался, кипѣлъ гнѣвомъ.

— На тебѣ! На тебѣ! — бормоталъ онъ, надавливая на перо.

Огненный знакъ удовлетворился и исчезъ.

НУ, ПУБЛИКА!

— Шабашъ, не буду больше пить!.. Ни... ни за что! Пора ужъ за умъ взяться. Надо работать, трудиться... Любишь жалованье получать, такъ работай честно, усердно, по совѣсти, пренебрегая покоемъ и сномъ. Баловство брось... Привыкъ, братъ, задаромъ жалованье получать, а это вотъ и не хорошо... и не хорошо...

Прочитавъ себѣ нѣсколько подобныхъ нравоученій, оберъ-кондукторъ Подтягинъ начинаетъ чувствовать непреодолимое стремленіе къ труду. Уже второй часъ ночи, но, несмотря на это, онъ будитъ кондукторовъ и вмѣстѣ съ ними идетъ по вагонамъ контролировать билеты.

— Ваши... билеты! — выкрикиваетъ онъ, весело пощелкивая щипчиками.

Сонныя фигуры, окутанныя вагоннымъ полумракомъ, вздрагиваютъ, встряхиваютъ головами и подаютъ свои билеты.

— Ваши... билеты! — обращается Подтягинъ къ пассажиру II класса, тощему, жилистому человѣку, окутанному въ шубу и одѣяло и окруженному подушками. — Ваши... билеты!

Жилистый человѣкъ не отвѣчаетъ. Онъ погруженъ въ сонъ. Оберъ-кондукторъ трогаетъ его за плечо и нетерпѣливо повторяетъ:

— Ваши... билеты!

Пассажиръ вздрагиваетъ, отерываетъ глаза и съ ужасомъ глядитъ на Подтягина.

— Что? Кто? а?

— Вамъ говорить по-челлаэчески: ваши... билеты! Па-а-трудитесь!

— Боже мой! — стонетъ жилистый человѣкъ, дѣлая пла-

чущее лицо. — Господи. Боже мой! Я страдаю ревматизмом... три ночи не спалъ, нарочно морфию принялъ, чтобъ уснуть, а вы... съ билетомъ! Въдь это безжалостно, безчеловѣчно! Если бы вы знали, какъ трудно мнѣ уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой... Безжалостно, нелѣпо! И на что вамъ мой билетъ понадобился? Глупо даже!

Подтягинъ думаетъ, обидѣться ему, или нѣтъ. — и рѣшаетъ обидѣться.

— Вы здѣсь не кричите! Здѣсь не кабакъ! — говорить онъ.

— Да въ кабакъ люди человѣчнѣй... — кашляетъ пассажиръ. — Изволь я теперь уснуть во второй разъ! И удивительное дѣло: всю заграницу объѣздивъ, и никто у меня тамъ билета не спрашивалъ, а тутъ, словно чортъ ихъ подъ локоть толкаетъ, то и дѣло, то и дѣло!..

— Ну, и поѣзжайте за границу, ежели вамъ тамъ нравится!

— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морятъ пассажировъ угаромъ, духотой и сквознякомъ, такъ хотять еще, чортъ ее подери, формалистикой добить. Билетъ ему понадобился! Скажите, какое усердіе! Добро бы это для контроля дѣлалось, а то въдь половина поѣзда безъ билетовъ ѣдетъ!

— Послушайте, господинъ! — вспыхиваетъ Подтягинъ. — И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужденъ буду высадить васъ на станціи и составить актъ объ этомъ фактѣ!

— Это возмутительно! — негодуетъ публика. — Пристають къ больному человѣку! Послушайте, да имѣйте же сожалѣніе!

— Да въдь они сами ругаются! — труситъ Подтягинъ. — Хорошо, я не возьму билета... Какъ угодно... Только въдь, сами знаете, служба моя этого требуетъ... Ежели бъ не служба, то, конечно... Можете даже начальника станціи спросить... Кого угодно спросите...

Подтягинъ пожимаетъ плечами и отходитъ отъ больного. Сначала онъ чувствуетъ себя обиженнымъ и нѣсколько третируемымъ, потомъ же, пройдя вагона два-три, онъ начинаетъ ощущать въ своей оберъ-кондукторской груди нѣкоторое безпокойство, похожее на угрызенія совѣсти.

«Дѣйствительно, не нужно было будить больного, — думаетъ онъ. — Впрочемъ, я не виноватъ... Они тамъ ду-

маютъ, что это я съ жиру, отъ нечего дѣлать, а того не знаютъ, что этого служба требуетъ... Ежели они не вѣрятъ, такъ я могу къ нимъ начальника станціи привести».

Станція. Поездъ стоитъ пять минутъ. Передъ третьимъ звонкомъ въ описанный вагонъ II класса входитъ Подтягинъ. За нимъ шествуетъ начальникъ станціи, въ красной фуражкѣ.

— Вотъ этотъ господинъ,—начинаетъ Подтягинъ:—говорять, что я не имѣю полного права спрашивать съ нихъ билетъ, и... и обижаются. Прошу васъ, господинъ начальникъ станціи, объяснить имъ — по службѣ я требую билетъ, или зря? Господинъ,—обращается Подтягинъ къ жилистому человѣку. — Господинъ! Можете вотъ начальника станціи спросить, ежели мнѣ не вѣрите.

Больной вздрагиваетъ, словно ужаленный, открываетъ глаза и, сдѣлавъ плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.

— Боже мой! Принялъ другой порошокъ и только-что задремалъ, какъ онъ опять... опять! Умоляю васъ, имѣйте вы сожалѣніе!

— Вы можете поговорить вотъ съ господиномъ начальникомъ станціи... Имѣю я полное право билетъ спрашивать, или нѣтъ!

— Это невыносимо! Нате вамъ вашъ билетъ! Нате! Я куплю еще пять билетовъ, только дайте мнѣ умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны! Безчувственный народъ!

— Это просто издѣвательство!—негодуетъ какой-то господинъ въ военной формѣ. — Иначе я не могу понять этого приставанья!

— Оставьте... — морщится начальникъ станціи, дергая Подтягина за рукавъ.

Подтягинъ пожимаетъ плечами и медленно уходитъ за начальникомъ станціи.

«Изволь тутъ угодить!—недоумѣваетъ онъ.—Я для него же позвалъ начальника станціи, чтобъ онъ понималъ, успокоился, а онъ... ругается».

Другая станція. Поездъ стоитъ десять минутъ. Передъ вторымъ звонкомъ, когда Подтягинъ стоитъ около буфета и пьетъ сельтерскую воду, къ нему подходятъ два господина, одинъ въ формѣ инженера, другой въ военномъ пальто.

— Послушайте, оберъ-кондукторъ! — обращается инженеръ къ Подтягину. — Ваше поведеніе по отношенію къ больному пассажиру возмутило всѣхъ очевидцевъ. Я инженеръ Пузицкій, это вотъ... господинъ полковникъ. Если вы не извинитесь передъ пассажиромъ, то мы подадимъ жалобу начальнику движенія, нашему общему знакомцу.

— Господа, да вѣдь я... да вѣдь вы...—оторопѣлъ Подтягинъ.

— Объясненій намъ не надо. Но предупреждаемъ, если не извинитесь, то мы беремъ пассажира подъ свою защиту.

— Хорошо, я... я, пожалуй, извинюсь... Извольте...

Черезъ полчаса Подтягинъ, придумавъ извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входитъ въ вагонъ.

— Господинъ!—обращается онъ къ больному.—Послушайте, господинъ!

Больной вздрагиваетъ и вскакиваетъ.

— Что?

— Я тово... какъ его?.. Вы не обижайтесь...

— Охъ... воды... — задыхается больной, хватаясь за сердце.—Третій порошокъ морфія принялъ, задремалъ и... опять! Боже, когда же, наконецъ, кончится эта пытка?

— Я тово... Вы извините...

— Слушайте... Высадите меня на слѣдующей станціи... Болѣе терпѣть я не въ состояннн... Я... я умираю...

— Это подло, гадко!—возмущается публика.—Убирайтесь вонъ отсюда! Вы поплатитесь за подобное издѣвательство! Вонъ!

Подтягинъ машетъ рукой, вздыхаетъ и выходитъ изъ вагона. Идетъ онъ въ служебный вагонъ, садится изнеможенный за столъ и жалуется:

«Ну, публика! Извольте вотъ ей угодить! Извольте вотъ служить, трудиться! Поневолѣ плюнешь на все и запьешь... Ничего не дѣлаешь—сердятся, начнешь дѣлать—тоже сердятся... Выпить!»

Подтягинъ выпиваетъ сразу полбутылки и больше уже не думаетъ о трудѣ, долгѣ и честности.

ПЕРЕСОЛИЛЪ.

Землемѣръ Глѣбъ Гавриловичъ Смирновъ прїѣхалъ на станцію «Гнилушки». До усадьбы, куда онъ былъ вызванъ для межеванія, оставалось еще проѣхать на лошадахъ верстъ тридцать—сорокъ. (Ежели возница не пьянъ и лошади не клячи, то и тридцати верстъ не будетъ, а коли возница съ мухой да кони наморены, то цѣлыхъ пятьдесятъ наберется).

— Скажите, пожалуйста, гдѣ я могу найти здѣсь почтовыхъ лошадей?—обратился землемѣръ къ станціонному жандарму.

— Которыхъ? Почтовыхъ? Тутъ за сто верстъ путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовыхъ... Да вамъ куда ѣхать?

— Въ Дѣвкино, имѣніе генерала Хохотова.

— Что жъ?—зѣвнулъ жандармъ.—Ступайте за станцію, тамъ на дворѣ иногда бываютъ мужики, возятъ пассажировъ.

Землемѣръ вздохнулъ и поплелся за станцію. Тамъ, послѣ долгихъ поисковъ, разговоровъ и колебаній, онъ нашелъ здоровеннѣйшаго мужика, угрюмаго, рябого, одѣтаго въ рваную сермягу и лапти.

— Чортъ знаетъ, какая у тебя телѣга!—поморщился землемѣръ, влѣзая въ телѣгу.—Не разберешь, гдѣ у нея задъ, гдѣ передъ...

— Что жъ тутъ разбирать-то? Гдѣ лошадинъ хвостъ, тамъ передъ, а гдѣ сидитъ ваша милость, тамъ задъ...

Лошаденка была молодая, но тощая, съ растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнулъ ее веревочнымъ кнутомъ, она только замотала головой, когда же онъ выбранился и стегнулъ ее еще разъ, то телѣга взвизгнула и задрожала, какъ въ лихорадкѣ. Послѣ третьяго удара телѣга покачнулася, послѣ же четвертаго она тронулася съ мѣста.

— Этакъ мы всю дорогу поѣдемъ?—спросилъ землемѣръ, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русскихъ возницъ соединять тихую, черепашью ѣзду съ душою выворачивающей тряску.

— До-о-ѣдемъ!—успокоилъ возница.—Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбѣжаться, такъ потомъ и не остановишь... Но-о-о, прокля...тая!

Когда телѣга выѣхала со станціи, были сумерки. Направо отъ землемѣра тянулася темная, замерзшая равнина, безъ конца и края... Поѣдешь по ней, такъ навѣрно заѣдешь къ чорту на кулички. На горизонтѣ, гдѣ она исчезала и сливалася съ небомъ, лѣниво догорала холодная осенняя заря... Налѣво отъ дороги въ темнѣющемъ воздухѣ высились какіе-то бугры, не то прошлогодніе стоги, не то деревня. Что было впереди, землемѣръ не видѣлъ, ибо съ этой стороны все поле зрѣнія застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здѣсь глушь!—думалъ землемѣръ, стараясь прикрыть свои уши воротникомъ отъ шинели.—Ни кола, ни двора. Не ровень часъ—нападутъ и ограбятъ, такъ никто и не узнаетъ, хоть изъ пушекъ пали... Да и возница ненадежный... Ишь, какая спланища! Этакое дитя природы пальцемъ тронетъ, такъ душа вонъ! И морда у него звѣрская, подозрительная».

— Эй, милый. — спросилъ землемѣръ: — какъ тебя зовутъ?

— Меня-то? Климъ.

— Что, Климъ, какъ у васъ здѣсь? Не опасно? Не шалятъ?

— Ничего, Богъ миловалъ... Кому жъ шалить?

— Это хорошо, что не шалятъ... Но на всякій случай все-таки я взялъ съ собой три револьвера,—совралъ землемѣръ.—А съ револьверомъ, знаешь, шутки плохи. Съ десятью разбойниками можно справиться...

Стемнѣло. Телѣга вдругъ закрипѣла, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налѣво.

«Куда же эту онъ меня повезъ?—подумалъ землемѣръ.— Ъхалъ все прямо и вдругъ налѣво. Чего добраго, завезеть, подлець, въ какую-нибудь трущобу и... и... Бываютъ вѣдь случаи!»—Послушай,—обратился онъ къ возницѣ.—Такъ ты говоришь, что здѣсь не опасно? Это жаль... Я люблю съ разбойниками драться... На видѣ-то я худой, болѣзненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Такъ что жъ ты думаешь? Одного я такъ тряхнулъ, что... что, понимаешь, Богу душу отдалъ, а два другіе изъ-за меня въ Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, въ родѣ тебя, и... и сковырнешь.

Климъ оглянулся на землемѣра, заморгалъ всѣмъ лицомъ и стегнулъ по лошаденкѣ.

— Да, братъ...—продолжалъ землемѣръ.—Не дай Богъ со мной связаться. Мало того, что разбойникъ безъ рукъ, безъ ногъ останется, но еще и передъ судомъ отвѣтить... Мнѣ всѣ судьбы и исправники знакомы. Человѣкъ я казенный, нужный... Я вотъ ѣду, а начальству извѣстно... такъ и глядитъ, чтобъ мнѣ кто-нибудь худа не сдѣлалъ. Везѣтъ по дорогѣ за кустиками урядники да сотскіе понатыканы... По... по... стой!—заоралъ вдругъ землемѣръ.—Куда же это ты въѣхалъ? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лѣсъ!

«Дѣйствительно, лѣсъ...—подумалъ землемѣръ.—А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волненія... Онъ уже замѣтилъ, что я трушу. Отчего это онъ сталъ такъ часто на меня оглядываться? Навѣрное, замышляеть что-нибудь... Раньше ѣхалъ еле-еле, пога за ногу, а теперь ишь какъ мчится!»

— Послушай, Климъ, зачѣмъ ты такъ гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбѣжалась... Ужъ какъ разбѣжится, такъ никакимъ средствѣмъ ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такія.

— Врешь, братъ! Вижу, что врешь! Только я тебѣ не совѣтую такъ быстро ѣхать. Попрдержжи-ка лошадь... Слышишь? Попрдержжи!

— Зачѣмъ?

— А затѣмъ... затѣмъ, что за мной со станціи должны выѣхать четыре товарища. Надо, чтобъ они насъ догнали... Они обѣщали догнать меня въ этомъ лѣсу... Съ ними веселѣй будетъ ѣхать... Народъ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты все оглядываешься и движешься, какъ на иголкахъ? а? Я, братъ, тово... братъ... На меня нечего оглядываться... интереснаго во мнѣ ничего нѣтъ... Развѣ вотъ револьверы только... Изволь, если хочешь, я ихъ выну, покажу... Изволь...

Землемѣръ сдѣлалъ видъ, что роется въ карманахъ, и въ это время случилось то, чего онъ не могъ ожидать при всей своей трусости. Климычъ вдругъ вывалился изъ телѣги и на четверенькахъ побѣжалъ къ чащѣ.

— Караулы!—загомосилъ онъ.—Караулы! Бери, окаянный, и лошадь, и телѣгу, только не губи ты моей души! Караулы!

Послышались скорые, удаляющіеся шаги, трескъ хвороста—и все смолкло... Землемѣръ, не ожидавшій такого реприманда, первымъ дѣломъ остановилъ лошадь, потомъ усѣлся поудобнѣй на телѣгѣ и сталъ думать.

«Убѣжалъ... испугался, дуракъ... Ну, какъ теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могутъ подумать, что я у него лошадь укралъ... Какъ быть?»—Климычъ! Климычъ!

— Климычъ!..—отвѣтило эхо.

Отъ мысли, что ему всю ночь придется просидѣть въ темномъ лѣсу на холодѣ и слышать только волковъ, эхо да фырканье тощей кобылки, землемѣра стало коробить вдоль спины, словно холоднымъ терпугомъ.

— Климушка!—закричалъ онъ.—Голубчикъ! Гдѣ ты, Климушка?

Часа два кричалъ землемѣръ, и только послѣ того, какъ онъ охрипъ и помирился съ мыслью о ночевкѣ въ лѣсу, слабый вѣтерокъ донесъ до него чей-то стонъ.

— Климычъ! Это ты, голубчикъ? Поѣдемъ!

— У...убьешь!

— Да я пошутилъ, голубчикъ! Накажи меня Господь, пошутилъ! Какіе у меня револьверы? Это я отъ страха вралъ! Сдѣлай милость, поѣдемъ! Мерзну!

Климычъ, сообразивъ, вѣроятно, что настоящій разбойникъ давно бы ужъ исчезъ съ лошадыю и телѣгой, вышелъ изъ лѣсу и нерѣшительно подошелъ къ своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутилъ, а ты испугался... Садись!

— Богъ съ тобой, баринъ,—проворчалъ Климъ, влѣзая въ телѣгу.—Если бъ зналъ, и за сто цѣлковыхъ не поведъ бы. Чуть я не померъ отъ страха...

Климъ стегнулъ по лошаденкѣ. Телѣга задрожала. Климъ стегнулъ еще разъ, и телѣга покачнулась. Послѣ четвертаго удара, когда телѣга тронулась съ мѣста, землемѣръ закрылъ уши воротникомъ и задумался. Дорога и Климъ ему уже не казались опасными.

НАЛИМЪ.

Лѣтнее утро. Въ воздухѣ тишина; только поскрипываетъ на берегу кузнечикъ, да гдѣ-то робко мурлыкаетъ орличка. На небѣ неподвижно стоятъ перистыя облака, похожія на разсыпанный снѣгъ... Около строящейся купальни, подъ зелеными вѣтвями ивняка, барахтается въ водѣ плотникъ Герасимъ, высокій, тощій мужикъ съ рыжей курчавой головой и съ лицомъ, поросшимъ волосами. Онъ пыхтитъ, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то изъ-подъ корней ивняка. Лицо его покрыто потомъ. На сажень отъ Герасима, по горло въ водѣ, стоитъ плотникъ Любимъ, молодой горбатый мужикъ съ треугольнымъ лицомъ и съ узкими, китайскими глазками. Какъ Герасимъ, такъ и Любимъ, оба въ рубахахъ и портахъ. Оба посинѣли отъ холода, потому что ужъ больше часа сидятъ въ водѣ...

— Да что ты все рукой тычешь?—кричитъ горбатый Любимъ, дрожа какъ въ лихорадкѣ.—Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдетъ, анаеема! Держи, говорю!

— Не уйдетъ... Куда ему уйтить? Онъ подъ корягу забился...—говоритъ Герасимъ охрипшимъ, глухимъ басомъ, идущимъ не изъ гортани, а изъ глубины живота.—Скользкій, шутъ, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабровъ-то... Пстой, ухватилъ за что-то... За губу ухватилъ... Кусается, шутъ!

— Не тащи за губу, не тащи—выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почаль рукой тыкать!

Да и непонятный же мужикъ, прости Царица Небесная! Хватай!

— «Хватай»...—дразнить Герасимъ.—Командеръ какой нашелся... Шель бы да и хваталь бы самъ, горбатый чортъ... Чего стоишь?

— Ухватилъ бы я, коли бь можно было... Нешто при моей низкой комплекции можно подь берегомъ стоять? Тамъ глыбоко!

— Ничего, что глыбоко... Ты впадь...

Горбачъ взмахиваетъ руками, подплываетъ къ Герасиму и хватается за вѣтки. При первой же попыткѣ стать на ноги, онъ погружается съ головой и пускаетъ пузыри.

— Говорилъ же, что глыбоко!—говорить онъ, сердито вращая бѣлками.—На шею тебѣ сяду, что ли?

— А ты на корягу стань... Корягъ много, словно лѣстница...

Горбачъ нащупываетъ пяткой корягу и, крѣпко ухватившись сразу за нѣсколько вѣтокъ, становится на нее... Совладавши съ равновѣсіемъ и укрѣпившись на новой позиціи, онъ изгибается и, стараясь не набрать въ ротъ воды, начинаетъ правой рукой шарить между корягами. Путаясь въ водоросляхъ, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакиваетъ на колючія клешни рака.

— Тебя еще тутъ, чорта не видали!—говорить Любимъ и со злобой выбрасываетъ на берегъ рака.

Наконецъ, рука его нащупываетъ руку Герасима и, спускаясь по ней, доходить до чего-то склизкаго, холоднаго.

— Во-отъ онъ!..—улыбается Любимъ.—Зда-аровый, шугъ... Оттопырь-ка пальцы, я его сейчасъ... за зебры... Постой, не толкай локтемъ... я его сейчасъ... сейчасъ... дай только взяться... Далече, шугъ, подь корягу забился, не за что и ухватиться... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слышать... Убей мнѣ на шеѣ комара—жжетъ! Я сейчасъ... подь зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпынай его пальцемъ!

Горбачъ, надувъ щеки, притаивъ дыханіе, вытаращиваетъ глаза и, повидимому, уже залѣзаетъ пальцами «подь зебры», но тутъ вѣтки, за которыя цѣпляется его лѣвая рука, обрываются, и онъ, потерявъ равновѣсіе,—бултыхъ въ воду! Слово испуганные, бѣгутъ отъ берега волнистые круги и на мѣстѣ паденія вскакиваютъ пузыри. Горбачъ выплываетъ и, фыркая, хватается за вѣтки.

— Утонешь еще, чортъ, отвѣчать за тебя придется!..— хрипнѣтъ Герасимъ.—Вылазь, ну ты къ лѣшему! Я самъ вытащу!

Начинается ругань... А солнце печетъ и печетъ. Тѣни становятся короче и уходятъ въ самихъ себя, какъ рога улитки... Высокая трава, пригрѣтая солнцемъ, начинаетъ испускать изъ себя густой, приторно-медовый запахъ. Ужъ скоро полдень, а Герасимъ и Любимъ все еще барахтаются подъ ивнякомъ. Хриплый басъ и озябшій, визгливый теноръ неутомно нарушаютъ тишину лѣтняго дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Пстой, я его выпихну! Да куда суешься-то съ кулачищемъ? Ты пальцемъ, а не кулакомъ, рыло! Заходи сбоку! Слѣва заходи, слѣва, а то вправѣ колдобина! Угодишь къ лѣшему на ужинъ! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу къ водопю лѣниво плетется стадо, гонимое пастухомъ Ефимомъ. Пастухъ, дряхлый старикъ съ однимъ глазомъ и покривившимся ртомъ, идетъ, понуря голову, и глядитъ себѣ подъ ноги. Первыми подходятъ къ водѣ овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его изъ-подъ низу! — слышитъ онъ голосъ Любима.—Просунь палець! Да ты глухой, чо-ортъ, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы?—кричитъ Ефимъ.

— Налима! Никакъ не вытащимъ! Подъ корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефимъ минуту шуруетъ свой глазъ на рыболововъ, затѣмъ снимаетъ лапти, сбрасываетъ съ плечъ мѣшочекъ и снимаетъ рубаху. Сбросить порты не хватаетъ у него терпѣнія, и онъ, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лѣзетъ въ портахъ въ воду... Шаговъ пятьдесятъ онъ проходитъ по илистому дну, но затѣмъ пускается вплавъ.

— Пстой, ребятушки!—кричитъ онъ.—Пстой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умѣючи!..

Ефимъ присоединяется къ плотникамъ, и всѣ трое, толкая другъ друга локтями и колѣнями, пыхтя и ругаясь, толкуются на одномъ мѣстѣ... Горбатый Любимъ захлебывается, и воздухъ оглашается рѣзкимъ, судорожнымъ кашлемъ.

— Гдѣ пастухъ?—слышится съ берега крикъ.—Ефи-имъ! Пастухъ! Гдѣ ты? Стадо въ садъ полѣзло! Гони, гони изъ сада! Гони! Да гдѣ жъ онъ, старый разбойникъ?

Слышатся мужскіе голоса, затѣмъ женскій... Изъ-за рѣшѣтки барскаго сада показывается баринъ Андрей Андреичъ въ халатѣ изъ персидской шали и съ газетой въ рукѣ... Онъ смотритъ вопросительно по направленію криковъ, несущихся съ рѣки, и потомъ быстро сѣменить къ купальнѣ...

— Что здѣсь? Кто оретъ?—спрашиваетъ онъ строго, увидавъ сквозь вѣтви ивняка три мокрыя головы рыболововъ.— Что вы здѣсь копошитесь?

— Ры... рыбку ловимъ...—лепечетъ Ефимъ, не поднимая головы.

— А вотъ я тебѣ задамъ рыбку! Стадо въ садъ полѣзло, а онъ рыбку!.. Когда же купальня будетъ готова, черти? Два дня какъ работаете, а гдѣ ваша работа?

— Бу... будетъ готова...—кряхтитъ Герасимъ.—Лѣто велико, усиѣнешъ еще, вашескородіе, помыться... Пфррр... Никакъ вотъ тутъ съ налимомъ не управимся... Забрался подъ корягу и словно въ норѣ: ни туда, ни сюда...

— Налимъ?—спрашиваетъ баринъ и глаза его подергиваются лакомъ.—Такъ тащите его скорѣй!

— Ужо дашь полтинничекъ... Удружимъ ежели... Здоровенный налимъ, что твоя купчиха... Стѣдить, вашескородіе, полтинникъ... за труды... Не мни его, Любимъ, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человекъ... какъ тебя? Кверху, а не книзу, дьяволь! Не болтайте ногами!

Проходитъ пять минутъ, десять... Барину становится невтерпѣжъ.

— Висилій!—кричитъ онъ, повернувшись къ усадьбѣ.— Васька! Позовите ко мнѣ Василия!

Прибѣгаетъ кучеръ Василій. Онъ что-то жуетъ и тяжело дышитъ.

— Полѣзай въ воду,—приказываетъ ему баринъ:—помоги имъ вытащить налима... Налима не вытащатъ!

Василій быстро раздѣвается и лѣзетъ въ воду.

— Я сейчасъ...—бормочетъ онъ.—Гдѣ налима? Я сейчасъ... Мы это мигомъ! А ты бы ушелъ, Ефимъ! Нечего тебѣ тутъ, старому человекъ, не въ свое дѣло мѣшаться! Который тутъ налима? Я его сейчасъ... Вотъ онъ! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаемъ: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его такъ вытащишь? Надо за голову!

— А голова подъ корягой! Знамо дѣло, дуракъ!

— Ну, не лай, а то влетитъ! Сволочь!

— При господинѣ баринѣ и такія слова... — лепечетъ Ефимъ.— Не вытащите вы, братцы! Ужъ больно ловко онъ засѣлъ туда!

— Погодите, я сейчасъ...—говоритъ баринъ и начинаетъ торопливо раздѣваться. — Четыре васъ дурака, и налима вытащить не можете!

Раздѣвшись, Андрей Андреичъ даетъ себѣ остынуть и лѣзетъ въ воду. Но и его вмѣшательство не ведетъ ни къ чему.

— Подрубить корягу надо! — рѣшаетъ, наконецъ, Любимъ.— Герасимъ, сходи за топоромъ! Топоръ подайте!

— Пальцевъ-то себѣ не отрубите! — говоритъ баринъ, когда слышатся подводные удары топора о корягу.— Ефимъ, пошелъ вонъ отсюда! Пойдите, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламываютъ, и Андрей Андреичъ, къ великому своему удовольствію, чувствуетъ, какъ его пальцы лѣзутъ налиму подъ жабры.

— Тащу, братцы! Не топчитесь... стойте... тащу!

На поверхности показывается большая налимя голова и за нею черное, аршинное тѣло. Налимъ тяжело ворочаетъ хвостомъ и старается вырваться.

— Шалишь... Дудки, братъ. Попался? Ага!

По всѣмъ лицамъ разливается медовая улыбка. Минута проходитъ въ молчаливомъ созерцаніи.

— Знатный налимъ!—лепечетъ Ефимъ, почесывая подъ ключицами.— Чай, фунтовъ десять будетъ...

— Нда...—соглашается баринъ.— Печенка-то такъ и отдувается. Такъ и претъ ее изъ нутра. А... ахъ!

Налимъ вдругъ неожиданно дѣлаетъ рѣзкое движеніе хвостомъ вверхъ и рыболовы слышатъ сильный плескъ... Всѣ растопыриваютъ руки, но уже поздно: налимъ — поминай какъ звали.

ХАМЕЛЕОНЪ.

Черезъ базарную площадь идетъ полицейскій надзиратель Очумѣловъ въ новой шинели и съ узелкомъ въ рукѣ. За нимъ шагаетъ рыжій городской съ рѣшетомъ, до верху наполненнымъ конфискованнымъ крыжовникомъ. Кругомъ тишина... На площади ни души... Открытыя двери лавокъ и кабаковъ глядятъ на свѣтъ Божій уныло, какъ голодныя ясти; около нихъ нѣтъ даже нищихъ.

— Такъ ты кусаться, окаянная!—слышитъ вдругъ Очумѣловъ.—Ребята не пушай ее! Нынче не велѣно кусаться! Держи! А... а!

Слышенъ собачій визгъ. Очумѣловъ глядитъ въ сторону и видитъ: изъ дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трехъ ногахъ и оглядываясь, бѣжитъ собака. За ней гонится человекъ въ ситцевой крахмальной рубахѣ и разстегнутой жилеткѣ. Онъ бѣжитъ за ней и, подавшись туловищемъ впередъ, падаетъ на землю и хватаетъ собаку за заднія лапы. Слышенъ вторично собачій визгъ и крикъ: «Не пушай!» Изъ лавокъ высовываются сонныя физиономіи и скоро около дровяного склада, словно изъ земли выросши, собирается толпа.

— Никакъ безпорядокъ, ваше благородіе!... — говоритъ городской.

Очумѣловъ дѣлаетъ полуоборотъ налѣво и шагаетъ къ сборищу. Около самыхъ воротъ склада, видитъ онъ, стоитъ вышесказанный человекъ въ разстегнутой жилеткѣ и, поднявъ вверхъ правую руку, показываетъ толпѣ окровавленный палецъ. На полупьяномъ лицѣ его какъ бы написано: «Ужо

я сорву съ тебя, шельма!» да и самый палець имѣеть видъ знаменія побѣды. Въ этомъ человѣкѣ Очумѣловъ узнаеть золотыхъ дѣлъ мастера Хрюкина. Въ центрѣ толпы, растопыривъ переднія ноги и дрожа всѣмъ тѣломъ, сидить на землѣ самъ виновникъ скандала—бѣлый борзой щенокъ съ острой мордой и желтымъ пятномъ на спинѣ. Въ слезающихся глазахъ его выраженіе тоски и ужаса.

— По какому это случаю тутъ? — спрашиваетъ Очумѣловъ, врѣзываясь въ толпу.—Почему тутъ? Это ты зачѣмъ палець?... Кто кричалъ?

— Иду я, ваше благородіе, никого не трогаю... — начинаетъ Хрюкинъ, кашля въ кулакъ: — насчетъ дровъ съ Митрій Матричемъ,—и вдругъ эта подлая ни съ того, ни съ сего за палець... Вы меня извините, я человѣкъ, который работающій... Работа у меня мелкая. Пуцай мнѣ заплатятъ, потому—я этимъ пальцемъ, можетъ, недѣлю не пошевелю... Этого, ваше благородіе, и въ законѣ нѣтъ, чтобъ отъ твари терпѣть... Ежели каждый будетъ кусаться. то лучше и не жить на свѣтѣ...

— Гм!.. Хорошо...—говоритъ Очумѣловъ строго, кашля и шевеля бровями.—Хорошо... Чья собака? Я этого такъ не оставлю. Я покажу вамъ, какъ собакъ распускаты! Пора обратить вниманіе на подобныхъ господъ, не желающихъ подчиняться постановленіямъ! Какъ оштрафуютъ его, мерзавца, такъ онъ узнаеть у меня, что значить собака и прочій бродячій скотъ! Я ему покажу Кузькину маты!.. Елдыринъ,—обращается надзиратель къ городовому:—узнай, чья это собака, и составляй протоколъ! А собаку истребить надо. Не медля! Она навѣрное бѣшеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говоритъ кто-то изъ толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдыринъ, съ меня пальто... Ужасъ, какъ жарко! Должно полагать, передъ дождемъ... Одного только я не понимаю: какъ она могла тебя укусить?—обращается Очумѣловъ къ Хрюкину.—Нешто она достанетъ до пальца? Она маленькая, а ты вѣдь вонъ какой здоровила! Ты, должно-быть, расковырять палець гвоздикомъ, а потомъ и пришла въ твою голову идея, чтобъ сорвать. Ты вѣдь... извѣстный народъ! Знаю васъ, чертей!

— Онь, ваше благородіе, цыгаркой ей въ харю для смѣха, а она, не будь дура, и тяпни... Вздорный чловѣкъ, ваше благородіе!

— Врешь, кривой! Не видалъ, такъ, стало-быть, зачѣмъ врать? Ихъ благородіе умный господинъ и понимаютъ, ежели кто вреть, а кто по совѣсти, какъ передъ Богомъ... А ежели я вру, такъ пушай мировой разсудить. У него въ законѣ сказано... Нынче всѣ равны... У меня у самого братъ въ жандармахъ... ежели хотите знать...

— Не разсуждаты!

— Нѣтъ, это не генеральская...—глубокомысленно замѣчаетъ городской. — У генерала такихъ нѣтъ. У него все больше лягавыя...

— Ты это вѣрно знаешь?

— Вѣрно, ваше благородіе...

— Я и самъ знаю. У генерала собаки дорогія, породистыя, а это—чортъ знаетъ что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И такую собаку держать?!.. Гдѣ же у васъ умъ? Попадись такая собака въ Петербургъ или Москвѣ, то знаете, что было бы? Тамъ не посмотрѣли бы въ законъ, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкинъ, пострадалъ и дѣла этого такъ не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А, можетъ-быть, и генеральская... — думаетъ вслухъ городской. — На мордѣ у ней не написано... Намедни во дворѣ у него такую видѣлъ.

— Вѣстимо, генеральская!—говоритъ голосъ изъ толпы.

— Гм!.. Надѣнь-ка, братъ Елдыринъ, на меня пальто... Что-то вѣтромъ подуло... Знобитъ... Ты отведешь ее къ генералу и спросишь тамъ. Скажешь, что я нашелъ и прислалъ... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, можетъ-быть, дорогая, а ежели каждый свинья будетъ ей въ носъ сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака—нѣжная тварь... А ты, болванъ, опусти руку! Нечего свой дурацкій палецъ выставлять! Самъ виноватъ!..

— Поваръ генеральскій идетъ, его спросимъ... Эй, Прохоръ! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумалъ! Этакихъ у насъ отродясь не бывало!

— И спрашивать тутъ долго нечего,—говоритъ Очумѣловъ. — Она бродячая! Нечего тутъ долго разговаривать...

Ежели сказать, что бродячая, стало-быть и бродячая... Истребить, вотъ и все.

— Это не наша,—продолжаетъ Прохоръ.—Это генералова брата, что намеднись пріѣхаль. Нашъ не охотникъ до борзыхъ. Братъ ихній охочь...

— Да развѣ братецъ ихній пріѣхали? Владиміръ Ивановичъ?—спрашиваетъ Очумѣловъ, и все лицо его заливается улыбкой умиленія.—Ишь ты, Господи! А я и не зналъ! Погостить пріѣхали?

— Въ гости...

— Ишь ты, Господи... Соскучились по братцѣ... А я вѣдь и не зналъ! Такъ это ихняя собачка? Очень радъ... Возьми ее... Собачонка ничего себѣ... Шустрая такая... Цапъ этого за палець! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится шельма... цуцькь этакій...

Прохоръ зоветъ собаку и идетъ съ ней отъ дровяного склада... Толпа хохочетъ надъ Хрюкинымъ.

— Я еще доберусь до тебя!—грозитъ ему Очумѣловъ и, запахиваясь въ шинель, продолжаетъ свой путь по базарной площади.

К Л Е В Е Т А .

Учитель чистописанія Сергѣй Капитонычъ Ахинеевъ выдалъ свою дочку Наталью за учителя исторіи и географіи Ивана Петровича Лошадиныхъ. Свадебное веселье текло, какъ по маслу. Въ залѣ пѣли, играли, плясали. По комнатамъ, какъ угорѣлые, сновали взадъ и впередъ взятые на прокатъ изъ клуба лакеи въ черныхъ фракахъ и бѣлыхъ запачканныхъ галстукахъ. Стоялъ шумъ и говоръ. Учитель математики Тарантуловъ, французъ Падекуа и младшій ревизоръ контрольной палаты Егоръ Венедиктычъ Мзда, сидя рядомъ на диванѣ, спѣша и перебивая другъ друга, рассказывали гостямъ случаи погребенія заживо и высказывали свое мнѣніе о спиритизмѣ. Всѣ трое не вѣрили въ спиритизмъ, но допускали, что на этомъ свѣтѣ есть много такого, чего никогда не постигнетъ умъ человѣческій. Въ другой комнатѣ учитель словесности Додонскій объяснялъ гостямъ случаи, когда часовой имѣетъ право стрѣлять въ проходящихъ. Разговоры были, какъ видите, страшные, но весьма пріятные. Въ окна со двора засматривали люди, по своему соціальному положенію не имѣвшіе права войти внутрь.

Ровно въ полночь хозяинъ Ахинеевъ прошелъ въ кухню поглядѣть, все ли готово къ ужину. Въ кухнѣ отъ пола до потолка стоялъ дымъ, состоявшій изъ гусиныхъ, утиныхъ

и многихъ другихъ запаховъ. На двухъ столахъ были разложены и разставлены въ художественномъ безпорядкѣ атрибуты закусокъ и выпивокъ. Около столовъ суетилась кухарка Марѳа, красная баба съ двойнымъ перетянутымъ животомъ.

— Покажи-ка мнѣ, матушка, осетра!—сказалъ Ахинеевъ, потирая руки и облизываясь. — Запахъ-то какой, міазма какая! Такъ бы и съѣлъ всю кухню! Нуко-ся, покажи осетра!

Марѳа подошла къ одной изъ скамей и осторожно приподняла засаленный газетный листъ. Подъ этимъ листомъ, на огромнѣйшемъ блюдѣ, покоился большой заливной осетръ, пестрѣвшій каперсами, оливками и морковкой. Ахинеевъ поглядѣлъ на осетра и ахнулъ. Лицо его просіяло, глаза подкатились. Онъ нагнулся и издалъ губами звукъ неподмазаннаго колеса. Постоявъ немного, онъ щелкнулъ отъ удовольствія пальцами и еще разъ чмокнулъ губами.

— Ва! Звукъ горячаго поцѣлуя... Ты съ кѣмъ это здѣсь цѣлуешься, Марѳуша? — послышался голосъ изъ сосѣдней комнаты, и въ дверяхъ показалась стриженная голова помощника классныхъ наставниковъ, Ванькина. — Съ кѣмъ это ты? А-а-а... очень пріятно! Съ Сергѣй Капитонычемъ! Хорошъ дѣдъ, нечего сказать! Съ женскимъ полонезомъ тетъ-а-тетъ!

— Я вовсе не цѣлуюсь,—сконфузился Ахинеевъ: — кто тебѣ, дураку, сказалъ? Это я тово... губами чмокнулъ въ отношеніи... въ разсужденіи удовольствія... При видѣ рыбы...

— Разсказывай!

Голова Ванькина широко улыбулась и скрылась за дверью. Ахинеевъ покраснѣлъ.

«Чортъ знаетъ что! — подумалъ онъ.—Пойдетъ теперь, мерзавецъ, и насплетничаетъ. На весь городъ осрамить, скотина»...

Ахинеевъ робко вошелъ въ залу и искоса поглядѣлъ въ сторону: гдѣ Ванькинъ? Ванькинъ стоялъ около фортепіано и, ухарски изогнувшись, шепталъ что-то смѣявшейся свояченицѣ инспектора.

«Это про меня!—подумалъ Ахинеевъ.—Про меня, чтобъ

его разорвало! А та и вѣрять... и вѣрять! Смѣется! Боже ты мой! Нѣтъ, такъ нельзя оставить... нѣтъ... Нужно будетъ сдѣлать, чтобъ ему не повѣрили... Поговорю со всѣми съ ними, и онъ же у меня въ дуракахъ-сплетникахъ останется»

Ахинеевъ почесался и, не переставая конфузиться, подошелъ къ Падекуа.

— Сейчасъ я въ кухнѣ былъ и насчетъ ужина распорядился,—сказалъ онъ французу.—Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетръ, вво! Въ два аршина! Хе-хе-хе... Да, кетати... чуть было не забылъ... Въ кухнѣ-то сейчасъ, съ осетромъ съ этимъ—сущій анекдотъ! Вхожу я сейчасъ въ кухню и хочу кушанья оглядѣть... Гляжу на осетра и отъ удовольствія... отъ пикантности губами чмокъ! А въ это время вдругъ дуракъ этотъ Ванькинъ входитъ и говорить... ха-ха-ха... и говоритъ: «А-а-а... вы цѣлуетесь здѣсь?» Съ Мареой-то, съ кухаркой! Выдумалъ же, глупый чело-вѣкъ! У бабы ни рожи, ни кожи, на всѣхъ звѣрей похожа, а онъ... цѣловаться! Чудакъ!

— Кто чудакъ?—спросилъ подошедшій Тарантуловъ.

— Да вонъ тотъ, Ванькинъ! Вхожу это я въ кухню...

И онъ рассказалъ про Ванькина.

— Насмѣшилъ, чудакъ! А по-моему, пріятнѣй съ барбосомъ цѣловаться, чѣмъ съ Мареой,—прибавилъ Ахинеевъ, оглянувшись и увидѣлъ сзади себя Мзду.

— Мы насчетъ Ванькина,—сказалъ онъ ему.—Чудачина! Входитъ это въ кухню, увидѣлъ меня рядомъ съ Мареой, да и давай штуки разныя выдумывать. «Чего, говорить, вы цѣлуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, съорѣй съ индюкомъ поцѣлуюсь, чѣмъ съ Мареой. Да у меня и жена есть, говорю, дуракъ ты этакій. Насмѣшилъ!

— Кто васъ насмѣшилъ?—спросилъ подошедшій къ Ахинееву отецъ-законоучитель.

— Ванькинъ. Стою я, знаете, въ кухнѣ и на осетра гляжу...

И такъ далѣе. Черезъ какіе-нибудь полчаса уже всѣ гости знали про исторію съ осетромъ и Ванькинымъ.

«Пусть теперь имъ рассказываетъ!—думалъ Ахинеевъ, потирая ружки.—Пусть! Онъ начнетъ рассказывать, а ему

сейчасъ: «Полно тебѣ, дуракъ, чепуху городить! Намъ все извѣстно!»

И Ахинеевъ до того успокоился, что выпилъ отъ радости лишнихъ четыре рюмки. Проводивъ послѣ ужина молодыхъ въ спальню, онъ отправился къ себѣ и уснулъ, какъ ни въ чемъ неповинный ребенокъ, а на другой день онъ уже не помнилъ исторіи съ осетромъ. Но, увы! Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. Злой языкъ сдѣлалъ свое злое дѣло, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно черезъ недѣлю, а именно въ среду послѣ третьяго урока, когда Ахинеевъ стоялъ среди учительской и толковалъ о порочныхъ наклонностяхъ ученика Высѣкина, къ нему подошелъ директоръ и отозвалъ его въ сторону.

— Вотъ что, Сергѣй Капитонычъ,—сказалъ директоръ.— Вы извините... Не мое это дѣло, но все-таки я долженъ дать понять... Моя обязанность... Видите ли, ходятъ слухи, что вы живете съ этой... съ кухаркой... Не мое это дѣло, но... Живите съ ней, цѣлуйтесь... что хотите, только, пожалуйста, не такъ гласно! Прощу васъ! Не забывайте, что вы педагогъ!

Ахинеевъ озябъ и обомлѣлъ. Какъ ужаленный сразу цѣлымъ роємъ и какъ опшаренный кипяткомъ, онъ пошелъ домой. Шелъ онъ домой, и ему казалось, что на него весь городъ глядитъ, какъ на вымазаннаго дегтемъ... Дома ожидала его новая бѣда.

— Ты что же это ничего не трескаешь?—спросила его за обѣдомъ жена.—О чемъ задумался? Объ амурахъ думаешь? О Мароушкѣ стосковался? Все мнѣ, махаметъ, извѣстно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у... вварварь!

И шлепъ его по щекѣ!.. Онъ всталъ изъ-за стола и, не чувствуя подъ собой земли, безъ шапки и пальто, побрѣлъ къ Ванькину. Ванькина онъ засталъ дома.

— Подлецъ ты!—обратился Ахинеевъ къ Ванькину.— За что ты меня передъ всѣмъ свѣтомъ въ грязи выпачкалъ? За что ты на меня клевету пустилъ?

— Какую клевету? Что вы выдумываете!

— А кто насплетничалъ, будто я съ Марою цѣловался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойникъ?

Ванькинъ заморгалъ и замигалъ всѣми фибрами своего поношеннаго лица, поднялъ глаза къ образу и проговорилъ:

— Накажи меня Богъ! Лопни мои глаза, и чтобъ я издохъ, ежели хоть одно слово про васъ сказалъ! Чтобъ мнѣ ни дна, ни покрывки! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнѣнію. Очевидно, не онъ насплетничалъ.

«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеевъ, перебирая въ своей памяти всѣхъ своихъ знакомыхъ и стуча себя по груди.—Кто же?»

— Кто же?—спросимъ и мы читателя...

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА.

(УГОЛОВНЫЙ РАЗСКАЗЪ.)

I.

Утромъ, 6-го октября 1885 г., въ канцелярію становаго пристава 2-го участка С—го уѣзда явился прилично одѣтый молодой человѣкъ и заявилъ, что его хозяинъ, отставной гвардіи корнетъ Маркъ Ивановичъ Кляузовъ, убитъ. Заявляя объ этомъ, молодой человѣкъ былъ блѣденъ и крайне взволнованъ. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?—спросилъ его становой.

— Псѣковъ, управляющій Кляузова. Агрономъ и механикъ.

Становой и понятые, прибывшіе вмѣстѣ съ Псѣковымъ на мѣсто происшествія, нашли слѣдующее. Около флигеля, въ которомъ жилъ Кляузовъ, толпилась масса народу. Вѣсть о происшествіи съ быстротою молніи облетѣла окрестности, и народъ, благодаря праздничному дню, стекался къ флигелю со всѣхъ окрестныхъ деревень. Стоялъ шумъ и говоръ. Кое-гдѣ попадались блѣдныя, заплаканныя фізіономіи. Дверь въ спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчалъ ключъ.

— Очевидно, злодѣи пробрались къ нему черезъ окно,— замѣтилъ при осмотрѣ двери Псѣковъ.

Пошли въ садъ, куда выходило окно изъ спальни. Окно глядѣло мрачно, зловѣще. Оно было занавѣшено зеленой,

поинялой занавѣской. Одинъ уголь занавѣски былъ слегка заворочень, что давало возможность заглянуть въ спальню.

— Смотрѣлъ ли кто-нибудь изъ васъ въ окно?—спросилъ становой.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокородіе,—сказалъ садовникъ Ефремъ, маленькій сѣдовласый старичокъ съ лицомъ отставного унтера. — Не до глядѣнья тутъ, коли всѣ поджилки трясутся!

— Эхъ, Маркъ Иванычъ, Маркъ Иванычъ!—вздохнулъ становой, глядя на окно.—Говорилъ я тебѣ, что ты плохимъ кончишь! Говорилъ я тебѣ, сердягъ,—не слушался! Распутство не доводитъ до добра!

— Спасибо Ефрему,—сказалъ Пѣшковъ: — безъ него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здѣсь что-то не такъ. Приходить сегодня ко мнѣ утромъ и говорить: «А отчего это нашъ баринъ такъ долго не просыпается? Цѣлую недѣлю изъ спальни не выходитъ!» Какъ сказалъ онъ мнѣ это, меня точно кто обухомъ... Мысль сейчасъ мелькнула... Онъ не показывался съ прошлой субботы, а вѣдь сегодня воскресенье! Семь дней—шутка сказать!

— Да, бѣдняга...—вздохнулъ еще разъ становой.—Умный малый, образованный, добрый такой. Въ компаніи, можно сказать, первый человекъ. Но распутникъ, царствіе ему небесное! Я всего ожидалъ! Степанъ,—обратился становой къ одному изъ понятыхъ:—сѣзди сію минуту ко мнѣ и пошли Андриюшку къ исправнику, пуцай доложить! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забѣги къ уряднику—чего онъ тамъ прохлаждается? Пуцай сюда ѣдетъ! А самъ ты поѣзжай, какъ можно скорѣе, къ слѣдователю Николаю Ермаляичу и скажи ему, чтобы ѣхалъ сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой разставилъ вокругъ флигеля сторожей, написалъ слѣдователю письмо и пошелъ къ управляющему пить чай. Минуть черезъ десять онъ сидѣлъ на табуретѣ, осторожно кусалъ сахаръ и глоталъ горячій, какъ уголь, чай.

— Вотъ-съ... — говорилъ онъ Пѣшкову.—Вотъ-съ... Дворянинъ, богатый человекъ... любимецъ боговъ, можно сказать, какъ выразился Пушкинъ, а что изъ него вышло? Ничего! Пьянствовалъ, распутничалъ и... вотъ-съ!.. убили.

Черезъ два часа прикатилъ слѣдователь. Николай Ерма-

лаевичъ Чубиковъ (такъ зовутъ слѣдователя), высокій, плотный старикъ, лѣтъ 60, подвизается на своемъ поприщѣ уже четверть столѣтій. Извѣстенъ всему уѣзду, какъ человѣкъ честный, умный, энергичный и любящій свое дѣло. На мѣсто происшествія прибылъ съ нимъ и его непремѣнный спутникъ, помощникъ и писмоводитель Дюковскій, высокій молодой человѣкъ, лѣтъ 26.

— Неужели, господа? — заговорилъ Чубиковъ, входя въ комнату Псѣкова и наскоро пожимая всѣмъ руки. — Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нѣтъ, это невозможно! Не-воз-мож-но!

— Подите же вотъ...—вздохнулъ становой.

— Господи ты Боже мой! Да вѣдь я же его въ прошлую пятницу на ярмаркѣ въ Тарабаньковѣ видѣлъ! Я съ нимъ, извините, водку пилъ!

— Подите же вотъ...—вздохнулъ еще разъ становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли къ флигелю.

— Разступись!—крикнулъ урядникъ народу.

Войдя во флигель, слѣдователь занялся прежде всего осмотромъ двери въ спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной въ желтую краску и неповрежденной. Особыхъ примѣтъ, могущихъ послужить какими-либо указаніями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

— Прощу, господа, лишнихъ удалиться! — сказалъ слѣдователь, когда послѣ долгаго стука и треска дверь уступила топору и долоту. — Прощу это въ интересахъ слѣдствія... Урядникъ, никого не впускать!

Чубиковъ, его помощникъ и становой отъкрыли дверь и нерѣшительно, одинъ за другимъ, вошли въ спальню. Ихъ глазамъ представилось слѣдующее зрѣлище. У единственнаго окна стояла большая деревянная кровать съ огромной пуховой периной. На измятой перинѣ лежало скомканное измятое одѣяло. Подушка въ ситцевой наволочкѣ, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столикѣ передъ кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцати-копеечнаго достоинства. Тутъ же лежали и сѣрные спички. Кромѣ кровати, столика и единственнаго стула, другой мебели въ спальнѣ не было. Заглянувъ подъ кровать, становой увидѣлъ десятка два пустыхъ бутылокъ, старую соломенную шляпу и четверть водки. Подъ столикомъ валялся

одинъ сапогъ, покрытый пылью. Окинувъ взглядомъ комнату, слѣдователь нахмурился и покраснѣлъ.

— Мерзавцы!—пробормоталъ онъ, сжимая кулаки.

— А гдѣ же Маркъ Иванычъ?—тихо спросилъ Дюковскій.

— Прошу васъ не вмѣшиваться!—грубо сказалъ ему Чубиковъ.—Извольте осмотрѣть полъ! Это второй такой случай въ моей практикѣ, Евграфъ Кузьмичъ,—обратился онъ къ становому, понизивъ голосъ. — Въ 1870 году былъ у меня тоже такой случай. Да вы навѣрное помните... Убийство купца Портретова. Тамъ тоже такъ. Мерзавцы убили и вытащили труиъ черезъ окно...

Чубиковъ подошелъ къ окну, отдернулъ въ сторону занавѣску и осторожно пихнулъ окно. Окно отворилось.

— Отворяется, значить, не было заперто... Гм!.. Слѣды на подоконникѣ. Видите? Вотъ слѣды отъ колѣна... Кто-то лѣзъ оттуда... Нужно будетъ, какъ слѣдуетъ, осмотрѣть окно.

— На полу ничего особеннаго не замѣтно,—сказалъ Дюковскій.—Ни пятенъ, ни царапинъ. Нашелъ одну только обгорѣвшую шведскую спичку. Вотъ она! Насколько я помню, Маркъ Иванычъ не курилъ; въ общегити же онъ употреблялъ сѣрные спички, отнюдь же не шведскія. Эта спичка можетъ служить уликой...

— Ахъ... замолчите, пожалуйста!—махнулъ рукой слѣдователь.—Лѣзетъ со своей спичкой! Не терплю горячихъ головъ! Чѣмъ спички искать, вы бы лучше постель осмотрѣли!

По осмотрѣ постели Дюковскій отрапортовалъ:

— Ни кровяныхъ, ни какихъ-либо другихъ пятенъ... Свѣжихъ разрывовъ также нѣтъ. На подушкѣ слѣды зубовъ. Одѣяло облито жидкостью, имѣющею запахъ пива и вкусъ его же... Общій видъ постели даетъ право думать, что на ней происходила борьба.

— Безъ васъ знаю, что борьба! Васъ не о борьбѣ спрашиваютъ. Чѣмъ борьбу-то искать, вы бы лучше...

— Одинъ сапогъ здѣсь, другого же нѣтъ налицо.

— Ну, такъ что же?

— А то, что его задушили, когда онъ снималъ сапоги. Не успѣлъ онъ снять другого сапога, какъ...

— Понесъ!.. И почему вы знаете, что его задушили?

— На подушкѣ слѣды зубовъ. Сама подушка сильно помята и отброшена отъ кровати на 2¹/₂ аршина.

— Голкуеть, пустомеля! Пойдемте-ка лучше въ садъ. Вы бы лучше въ саду посмотрѣли, чѣмъ здѣсь рыться... Это я и безъ васъ сдѣлаю.

Придя въ садъ, слѣдствіе прежде всего занялось осмотромъ травы. Трава подъ окномъ была помята. Кустъ репейника подъ окномъ у самой стѣны оказался тоже помятымъ. Дюковскому удалось найти на немъ нѣсколько поломанныхъ вѣточекъ и кусочекъ ваты. На верхнихъ головкахъ были найдены тонкіе волоски темно-синей шерсти.

— Какого цвѣта былъ его послѣдній костюмъ? — спросилъ Дюковскій у Псѣкова.

— Желтый, парусниковый.

— Отлично. Они, значитъ, были въ синемъ.

Нѣсколько головокъ репейника было срѣзано и старательно заверочено въ бумагу. Въ это время пріѣхалъ исправникъ Арцыбашевъ-Свистаковскій и докторъ Тютюевъ. Исправникъ поздоровался и тотчасъ же принялся удовлетворять свое любопытство; докторъ же, высокій и въ высшей степени тощій человѣкъ со впалыми глазами, длиннымъ носомъ и острымъ подбородкомъ, ни съ кѣмъ не здороваясь и ни о чемъ не спрашивая, сѣлъ на пень, вздохнулъ и проговорилъ:

— А сербы опять взбудоражились! Что имъ нужно, не понимаю! Ахъ, Австрія, Австрія! Твой это дѣла!

Осмотръ окна снаружи не далъ рѣшительно ничего; осмотръ же травы и ближайшихъ къ окну кустовъ далъ слѣдствію много полезныхъ указаній. Дюковскому удалось, напримѣръ, прослѣдить на травѣ длинную темную полосу, состоявшую изъ пятенъ и тянувшуюся отъ окна на нѣсколько сажень въглубь сада. Полоса заканчивалась подъ однимъ изъ сиреневыхъ кустовъ большимъ темно-коричневымъ пятномъ. Подъ тѣмъ же кустомъ былъ найденъ сапогъ, который оказался парой сапога, найденнаго въ спальнѣ.

— Это давнишняя кровь!—сказалъ Дюковскій, осматривая пятна.

Докторъ при словѣ «кровь» поднялся и лѣниво, мелькомъ взглянулъ на пятна.

— Да, кровь,—пробормоталъ онъ.

— Значитъ, не задушенъ, коли кровь! — сказалъ Чубиковъ, язвительно поглядѣвъ на Дюковского.

— Въ спальнѣ его задушили, здѣсь же, боясь, чтобы

онъ не ожилъ, его ударили чѣмъ-то острымъ. Пятно подъ кустомъ показываетъ, что онъ лежалъ тамъ относительно долгое время, пока они искали способо́въ, какъ и на чемъ вынести его изъ сада.

— Ну, а сапогъ?

— Этотъ сапогъ еще болѣе подтверждаетъ мою мысль, что его убили, когда онъ снималъ передъ сномъ сапоги. Одинъ сапогъ онъ снялъ, другой же, т. е. этотъ, онъ успѣлъ снять только наполовину. Наполовину снятый сапогъ во время тряски и паденія самъ снялся...

— Сообразительность, посмотришы!—усмѣхнулся Чубиковъ.—Такъ и рѣжетъ, такъ и рѣжетъ! И когда вы отучитесь лѣзть со своими разсужденіями? Чѣмъ разсуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы съ кровью!

По осмотру и снятіи плана мѣстности, слѣдствіе отправилось къ управляющему писать протоколъ и завтракать. За завтракомъ разговорились.

— Часы, деньги и прочее... все цѣло,—началъ разговоръ Чубиковъ.—Какъ дважды два четыре, убійство совершено не съ корыстными цѣлями.

— Совершенно человѣкомъ интеллигентнымъ, — вставилъ Дюковский.

— Изъ чего же это вы заключаете?

— Къ моимъ услугамъ шведская спичка, употребленія которой еще не знаютъ здѣшніе крестьяне. Употребляютъ такія спички только помѣщики, и то не всѣ. Убиваль, кстати сказать, не одинъ, а минимумъ трое: двое держали, а третій душилъ. Кляузовъ былъ силенъ, и убійцы должны были знать это.

— Къ чему могла послужить ему его сила, ежели онъ, положимъ, спалъ?

— Убійцы застали его за сниманіемъ сапогъ. Снималъ сапоги, значить, не спалъ.

— Нечего выдумывать! Ыщите лучше!

— А по моему понятію, ваше высокоблагородіе,—сказалъ садовникъ Ефремъ, ставя на столъ самоваръ:—пако́сть эту самую сдѣлалъ нѣкто другой, какъ Николашка.

— Весьма возможно,—сказалъ Псѣковъ.

— А кто этотъ Николашка?

— Барино́въ камердинеръ, ваше высокоблагородіе,—отвѣчалъ Ефремъ.—Кому другому, какъ не ему? Разбойникъ,

ваше высокоблагородіе! Пьяница и распутникъ такой, что и не приведи Царица Небесная! Барину онъ водку завсегда носилъ, барина онъ укладывалъ въ постелю... Кому же, какъ не ему? А еще тоже, смѣю предположить вашему высокоблагородію, похвалялся разъ, шельма, въ кабацкѣ, что барина убьетъ. Изъ-за Акульки все вышло, изъ-за бабы... Была у него солдатка такая... Барину она пондравилась, они ее къ себѣ приблизили, ну, а онъ... извѣстно, осерчалъ... На кухнѣ пьяный валяется теперь. Плачетъ... вретъ, что барина жалко...

— А дѣйствительно, изъ-за Акульки можно осерчать,— сказалъ Псѣковъ. — Она солдатка, баба, но... Недаромъ Маркъ Иванычъ прозвалъ ее Наной. Въ ней есть что-то, напоминающее Нану... привлекательное...

— Видаль... Знаю...—сказалъ слѣдователь, сморкаясь въ красный платокъ.

Дюковский покраснѣлъ и опустилъ глаза. Становой забарабилъ пальцемъ по блюдечку. Исправникъ закашлялся и полѣзъ зачѣмъ-то въ портфель. На одного только доктора, повидимому, не произвело никакого впечатлѣнія напоминаніе объ Акулкѣ и Нанѣ. Слѣдователь приказалъ привести Николашку. Николашка, молодой, долговязый парень съ длиннымъ, рябымъ носомъ и впалой грудью, въ пиджакѣ съ барскаго плеча, вошелъ въ комнату Псѣкова и поклонился слѣдователю въ ноги. Лицо его было сѣнно и заплакано. Самъ онъ былъ пьянъ и еле держался на ногахъ.

— Гдѣ баринъ?—спросилъ его Чубиковъ.

— Убили, ваше высокоблагородіе.

Сказавъ это, Николашка заморгалъ глазами и заплакалъ.

— Знаемъ, что убили. А гдѣ онъ теперь? Тѣло-то его гдѣ?

— Сказываютъ, въ окно вытащили и въ саду закопали.

— Гм!.. О результатахъ слѣдствія уже извѣстно на кухнѣ... Скверно. Любезный, гдѣ ты былъ въ ту ночь, когда убили барина? Въ субботу, то-есть?

Николашка поднялъ вверхъ голову, вытянулъ шею и задумался.

— Не могу знать, ваше высокоблагородіе, — сказалъ онъ.— Былъ выпимши и не помню.

— Alibi!—шепнулъ Дюковский, усмѣхаясь и потирая руки.

— Такъ-съ. Ну, а отчего это у барина подъ окномъ кровь?

Николашка задралъ вверхъ голову и задумался.

— Скорѣй думай!—сказалъ исправникъ.

— Сичасъ. Кровь эта отъ пустяка, ваще высокоблагородіе. Курицу я рѣзалъ. Я ее рѣзалъ очень просто, какъ обыкновенно, а она возьми да и вырвись изъ рукъ, возьми да побѣги... Отъ этого самага и кровь.

Ефремъ показалъ, что, дѣйствительно, Николашка каждый вечеръ рѣжетъ куръ и въ разныхъ мѣстахъ, но никто не видѣлъ, чтобы недорѣзанная курица бѣгала по саду, чего, впрочемъ, нельзя отрицать безусловно.

— Alibi, — усмѣхнулся Дюковскій. — И какое дурацкое alibi!

— Съ Акулькой знавался?

— Былъ грѣхъ.

— А баринъ у тебя сманилъ ее?

— Никакъ нѣтъ. У меня Акульку отбили вотъ они-съ, господинъ Псѣковъ, Иванъ Михайлычъ-съ, а у Ивана Михайлыча отбилъ баринъ. Такъ дѣло было.

Псѣковъ смутился и принялся чесать себѣ лѣвый глазъ. Дюковскій впился въ него глазами, прочелъ смущеніе и вздрогнулъ. На управляющемъ увидѣлъ онъ синія панталоны, на которыя ранѣе не обратилъ вниманія. Панталоны напомнили ему о синихъ волосахъ, найденныхъ на репейникѣ. Чубиковъ, въ свою очередь, подозрительно взглянулъ на Псѣкова.

— Ступай! — сказалъ онъ Николашкѣ. — А теперь позвольте вамъ задать одинъ вопросъ, г. Псѣковъ. Вы, конечно, были въ субботу подъ воскресенье здѣсь?

— Да, въ десять часовъ я ужиналъ съ Маркомъ Ивановичемъ.

— А потомъ?

Псѣковъ смутился и всталъ изъ-за стола.

— Потомъ... потомъ... Право, не помню, — забормоталъ онъ. — Я много выпилъ тогда... Не помню, гдѣ и когда уснулъ... Чего вы на меня всѣ такъ смотрите? Точно я убилъ!

— Гдѣ вы проснулись?

— Проснулся въ людской кухнѣ на печи... Всѣ могутъ подтвердить. Какъ я попалъ на печь, не знаю...

— Вы не волнуйтесь... Акулину вы знали?

— Ничего нѣтъ тутъ особеннаго...

— Отъ васъ она перешла къ Клязузову?

— Да... Ефремъ, подай еще грибовъ! Хотите чаю, Евраграфъ Кузьмичъ?

Наступило молчаніе тяжелое, жуткое, длившееся минутъ пять. Дюковскій молчалъ и не отрывалъ своихъ колючихъ глазъ отъ поблѣднѣвшаго лица Псѣкова. Молчаніе нарушилъ слѣдователь.

— Нужно будетъ, — сказалъ онъ: — сходить въ большой домъ и поговорить тамъ съ сестрой покойнаго, Марьей Ивановной. Не дастъ ли она намъ какихъ-либо указаній.

Чубиковъ и его помощникъ поблагодарили за завтракъ и пошли въ барскій домъ. Сестру Клязузова, Марью Ивановну, сорока-пятилѣтнюю дѣву, застали они молящейся передъ высокимъ фамильнымъ кіотомъ. Увидѣвъ въ рукахъ гостей портфель и фуражки съ кокардами, она поблѣднѣла.

— Приношу, прежде всего, извиненіе за нарушеніе, такъ сказать, вашего молитвеннаго настроенія, — началъ, расшаркиваясь, галантный Чубиковъ. — Мы къ вамъ съ просьбой. Вы, конечно, уже слышали... Существуетъ подозрѣніе, что вашъ братецъ, нѣкоторымъ образомъ, убитъ. Божья воля, знаете ли... Смерти не миновать никому, ни царямъ, ни пахарямъ. Не можете ли вы помочь намъ какимъ-либо указаніемъ, разъясненіемъ...

— Ахъ, не спрашивайте меня! — сказала Марья Ивановна, еще болѣе блѣднѣя и закрывая лицо руками. — Ничего я не могу вамъ сказать! Ничего! Умоляю васъ! И ничего... Что я могу? Ахъ, нѣтъ, нѣтъ... ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла въ другую комнату. Слѣдователи переглянулись, пожалы плечами и ретировались.

— Чортова баба! — выругался Дюковскій, выходя изъ большого дома. — Повидимому, что-то знаетъ и скрываетъ. И у горничной что-то на лицѣ написано... Постоите же, черти! Все разберемъ!

Вечеромъ Чубиковъ и его помощникъ, освѣщенные блѣднолицей луной, возвращались къ себѣ домой; они сидѣли въ шарабанѣ и подводили въ своихъ головахъ итоги минувшаго дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиковъ вообще не любилъ говорить въ дорогѣ, болтунъ же Дюковскій молчалъ въ угоду старику. Въ концѣ пути, однако, помощникъ не вынесъ молчанія и заговорилъ:

— Что Николашка причастенъ въ этомъ дѣлѣ,—сказалъ онъ:—*non dubitandum est*. И по рождѣ его видно, что онъ за штука... *Alibi* выдаетъ его съ руками и ногами. Нѣтъ также сомнѣнія, что въ этомъ дѣлѣ не онъ иниціаторъ. Онъ былъ только глупымъ, нанятымъ орудіемъ. Согласны? Не послѣднюю также роль въ этомъ дѣлѣ играетъ и скромный Псѣковъ. Синія панталоны, смущеніе, лежанье на печи отъ страха послѣ убійства, *alibi* и Акулька.

— Мели, Емеля, твоя недѣля. По-вашему, значить, тотъ и убійца, кто Акульку знаетъ? Эхъ, вы, горячка! Соску бы вамъ сосать, а не дѣла разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, — значить и вы участникъ въ этомъ дѣлѣ?

— У васъ тоже Акулька мѣсяць въ кухаркахъ жила, по... я ничего не говорю. Въ ночь подъ то воскресенье я игралъ съ вами въ карты, видѣлъ васъ, иначе бы я и къ вамъ придрался. Дѣло, багенька, не въ бабѣ. Дѣло въ подленькомъ, гаденькомъ, скверненькомъ чувствѣ... Скромному молодому человѣку не понравилось, видите ли, что не онъ верхъ взялъ. Самолюбіе, видите ли... Мстить захотѣлось. Потомъ-съ... Толстыя губы его сильно говорятъ о чувственности. Помните, какъ онъ губами причмокивалъ, когда Акульку съ Наной сравнивалъ? Что онъ, мерзавецъ, сгораеть страстью — несомнѣнно! Итакъ: оскорбленное самолюбіе и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убійство. Двое въ нашихъ рукахъ; но кто же третій? Николашка и Псѣковъ держали. Кто же душилъ? Псѣковъ робокъ, конфузливъ, вообще трусъ. Николашки же не умѣютъ душить подушкой; они дѣйствуютъ топоромъ, обухомъ... Душилъ кто-то третій, но кто онъ?

Дюковскій нахлобучилъ на глаза шляпу и задумался. Молчалъ онъ до тѣхъ поръ, пока шарабанъ не подѣхалъ къ дому слѣдователя.

— Эврика! — сказалъ онъ, входя въ домикъ и снимая пальто. — Эврика, Николай Ермолаичъ! Не знаю только, какъ мнѣ это раньше въ голову не пришло. Знаете, кто третій?

— Отстаньте, пожалуйста! Вонъ ужинъ готовъ! Садитесь ужинать!

Слѣдователь и Дюковскій сѣли ужинать. Дюковскій налилъ себѣ рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказалъ:

— Такъ знайте же, что третій, дѣйствовавшій заодно съ негодеемъ Песѣковымъ и душившій — была женщина! Да-съ! Я говорю о сестрѣ убитаго, Марьѣ Ивановнѣ!

Чубиковъ поперхнулся водкой и уставилъ глаза на Дюковского.

— Вы... не тово? Голова у васъ... не тово? Не болитъ?

— Я здоровъ. Хорошо, пусть я съ ума сошелъ, но чѣмъ вы объясните ея смущеніе при нашемъ появленіи? Какъ вы объясните ея нежеланіе давать показанія? Допустимъ, что это пустяки — хорошо! ладно! — такъ вспомните про ихъ отношенія. Она ненавидѣла своего брата! Она старовѣрка, онъ развратникъ, безбожникъ... Вотъ гдѣ гнѣздится ненависть! Говорятъ, что онъ успѣлъ убѣдить ее въ томъ, что онъ аггелъ сатаны. При ней онъ занимался спиритизмомъ!

— Ну, такъ что же?

— Вы не понимаете? Она, старовѣрка, убила его изъ фанатизма! Мало того, что она убила плевель, развратника, она освободила міръ отъ антихриста — и въ этомъ, мнѣтъ она, ея заслуга, ея религиозный подвигъ! О, вы не знаете этихъ старыхъ дѣвъ, старовѣрокъ! Прочитайте-ка Достоевскаго! А что пишутъ Лѣсковъ, Печерскій!.. Она и она, хоть зарѣжьте! Она душила! О, ехидная баба! Развѣ не затѣмъ только стояла она у иконъ, когда мы вошли, чтобы отвести намъ глаза? Дай, моль, стану и буду молиться, а они подумаютъ, что я покойна, что я не ожидаю ихъ! Это методъ всѣхъ преступниковъ-новичковъ. Голубчикъ, Николай Ермолаичъ! Родной мой! Отдайте мнѣ это дѣло! Дайте мнѣ лично довести его до конца! Милый мой! Я началъ, я и до конца доведу!

Чубиковъ замоталъ головой и нахмурился.

— Мы и сами умѣемъ трудныя дѣла разбирать, — сказалъ онъ. — А ваше дѣло не лѣзть, куда не слѣдуетъ. Пишите себѣ подь диктовку, когда вамъ диктуютъ, — вотъ ваше дѣло!

Дюковский вспыхнулъ, хлопнулъ дверью и вышелъ.

— Умница, шельма! — пробормоталъ, глядя ему вслѣдъ Чубиковъ. — Бо-ольшая умница! Горячь только некстати. Нужно будетъ ему на ярмаркѣ портсигаръ въ презентъ кушть...

На другой день утромъ къ слѣдователю Зыль приведенъ изъ Кляузовки молодой парень съ большой головой и за-

ячейкой губой, который, назвавшись пастухомъ Данилкою, далъ очень интересное показаніе.

— Былъ я выпимши, — сказалъ онъ. — До полночи у кумы просидѣлъ. Идучи домой, спяща полѣзь въ рѣку купаться. Купаюсь я... гляди! Идутъ по плотинѣ два человека и что-то черное несутъ. — «Тю!» — крикнулъ я на нихъ. Они испугались и что есть духу давай стрелача къ макарьевскимъ огородамъ. Побей меня Богъ, коли то не барина волокла!

Въ тотъ же день передъ вечеромъ Псѣковъ и Николашка были арестованы и отправлены подъ конвоемъ въ уѣздный городъ. Въ городѣ они были посажены въ тюремный замокъ.

II.

Прошло двѣнадцать дней.

Было утро. Слѣдователь Николай Ермолаичъ сидѣлъ у себя за зеленымъ столомъ и перелистывалъ «кляузовское» дѣло; Доковскій безпокойно, какъ волкъ въ клеткѣ, шагаль изъ угла въ уголъ.

— Вы убѣждены въ виновности Николашки и Псѣкова, — говорилъ онъ, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убѣдиться въ виновности Марьи Ивановны? Вамъ мало уликъ, что ли?

— Я не говорю, что я не убѣжденъ. Я убѣжденъ, но не вѣрится какъ-то... Уликъ настоящихъ нѣтъ, а все какая-то философія... Фанатизмъ, то да се...

— А вамъ непременно подавай топоръ, окровавленные простыни! Юристы! Такъ я же вамъ докажу! Вы перестанете у меня такъ халатно относиться къ психической сторонѣ дѣла! Быть вашей Марьѣ Ивановнѣ въ Сибири! Я докажу! Мало вамъ философіи, такъ у меня есть нѣчто вещественное... Оно покажетъ вамъ, какъ права моя философія! Дайте мнѣ только поѣздить.

— О чемъ это вы?

— Про шведскую спичку-съ... Забыли? А я не забылъ! Я узнаю, кто зажигалъ ее въ комнатѣ убитаго! Зажигалъ не Николашка, не Псѣковъ, у которыхъ при обыскѣ спичекъ не оказалось, а третій, т. е. Марья Ивановна. И я докажу! Дайте только поѣздить по уѣзду, разузнать...

— Ну, ладно, садитесь... Давайте допросъ дѣлать.

Дюковскій сѣлъ за столикъ и уткнулъ свой длинный носъ въ бумаги.

— Вести Николая Тетехова! — крикнулъ слѣдователь.

Ввели Николашку. Николашка былъ блѣденъ и худъ, какъ щепка. Онъ дрожалъ.

— Тетеховъ! — началъ Чубиковъ. — Въ 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены къ тюремному заключенію. Въ 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали въ тюрьму... Намъ все извѣстно...

На лицѣ у Николашки выразилось удивленіе. Всецѣднѣ слѣдователя изумило его. Но скоро удивленіе смѣнилось выраженіемъ крайней скорби. Онъ зарыдалъ и попросилъ позволенія пойти умыться и успокоиться. Его увели.

— Вести Псѣкова! — приказалъ слѣдователь.

Ввели Псѣкова. Молодой человѣкъ за послѣдніе дни сильно измѣнился въ лицѣ. Онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ и осунулся. Въ глазахъ читалась апатія.

— Садитесь, Псѣковъ, — сказалъ Чубиковъ. — Надѣюсь, что сегодняшній разъ вы будете благоразумны и не станете лгать, какъ тѣ разы. Во всѣ тѣ дни вы отрицали свое участіе въ убійствѣ Клязуова, несмотря на всю массу уликъ, говорящихъ противъ васъ. Это неразумно. Сознаніе облегчаетъ вину. Сегодня я бесѣдую съ вами въ послѣдній разъ. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будетъ уже поздно. Ну, рассказывайте намъ...

— Ничего я не знаю... И уликъ вашихъ не знаю, — прошепталъ Псѣковъ.

— Напрасно-съ! Ну, такъ позвольте же мнѣ рассказать вамъ, какъ было дѣло. Въ субботу вечеромъ вы сидѣли въ спальнѣ Клязуова и пили съ нимъ водку и пиво (Дюковскій вонзилъ свой взглядъ въ лицо Псѣкова и не отрывалъ его въ продолженіе всего монолога). Вамъ прислуживалъ Николай. Въ первомъ часу Маркъ Ивановичъ заявилъ вамъ о своемъ желаніи ложиться спать. Въ первомъ часу онъ всегда ложился. Когда онъ снималъ сапоги и отдавалъ вамъ приказанія по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьянѣвшаго хозяина и опрокинули его на постель. Одинъ изъ васъ сѣлъ ему на ноги, другой на голову. Въ это время изъ сѣней вошла извѣстная вамъ женщина въ черномъ платьѣ, которая ранѣе условилась съ вами

относительно своего участія въ этомъ преступномъ дѣлѣ. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свѣча. Женщина вынула изъ кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свѣчу. Не такъ ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далѣе... Задушивъ его и убѣдившись, что онъ не дышитъ, вы и Николай вытащили его черезъ окно и положили около репейника. Боясь, чтобы онъ не ожилъ, вы ударили его тѣмъ-то острымъ. Затѣмъ вы понесли и положили его на нѣкоторое время подъ сиреневый кустъ. Отдохнувъ и подумавъ, вы понесли его... Перенесли черезъ плетень... Потомъ пошли по дорогѣ... Далѣе слѣдуетъ плотина. Около плотины испугалъ васъ какой-то мужикъ. Но что съ вами?

Псѣковъ, блѣдный какъ полотно, поднялся и зашатался.

— Мнѣ душно! — сказала онъ. — Хорошо... пусть... Только я выйду... пожалуйста.

Псѣкова вывели.

— Наконецъ-таки сознался! — сладко потянулся Чубиковъ. — Выдалъ себя! Какъ я его ловко, однако! Такъ и засыпать...

— И женщину въ черномъ не отрицаетъ! — засмѣялся Дюковский. — Но, однако, меня ужасно мучить шведская спичка! Не могу долѣе терпѣть! Прощайте! Ъду.

Дюковский надѣлъ фуражку и уѣхалъ. Чубиковъ началъ допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знаетъ ничего не знаетъ...

— Жила я только съ вами, а больше ни съ кѣмъ! — сказала она.

Въ шестомъ часу вечера воротился Дюковский. Онъ былъ взволнованъ, какъ никогда. Руки его дрожали до такой степени, что онъ былъ не въ состояніи разстегнуть пальто. Щеки его горѣли. Видно было, что онъ воротился не безъ новости.

— Veni, vidi, vici! — сказалъ онъ, влетая въ комнату Чубикова и падая въ кресло. — Клянусь вамъ честью, я начинаю вѣрять въ свою гениальность! Слушайте, чортъ насъ возьми совсѣмъ! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смѣшно и грустно! Въ нашихъ рукахъ уже есть трое... не такъ ли? Я нашелъ четвертаго или, вѣрнѣе — четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновеніе къ ея плечамъ я отдалъ бы десять лѣтъ жизни! Но... слу-

шайте... Поѣхалъ я въ Клязовку и давай вокругъ нея описывать спираль. Постѣтилъ я на пути всѣ лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведскія спички. Всюду мнѣ говорили «нѣтъ». Колесилъ я до сей поры. Двадцать разъ я терялъ надежду и столько же разъ получалъ ее обратно. Валандался цѣлый день и только часъ тому назадъ набрелъ на искомое. За три версты отсюда. Подаютъ мнѣ пачку изъ десяти коробочекъ. Одной коробки нѣтъ какъ нѣтъ... Сейчасъ: кто купилъ эту коробку? Такая-то... — Пондравилось ей... пшикають. Голубчикъ мой! Николай Ермолаичъ! Что можетъ иногда сдѣлать человекъ, изгнанный изъ семинари и начитавшійся Габорио, такъ уму неопостижимо! Съ сегодняшняго дня начинаю уважать себя!.. Уффф... Ну, ѣдемъ!

— Куда это?

— Къ ней, къ четвертой... Послѣшить нужно, иначе... иначе я сторю отъ нетерпѣнія! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна — вотъ кто! Она купила ту коробку спичекъ!

— Вы... ты... вы... съ ума сошелъ?

— Очень понятно! Во-первыхъ, она курить. Во-вторыхъ, она по уши была влюблена въ Клязова. Онъ отвергъ ея любовь для какой-нибудь Акульки. Местъ. Теперь я вспоминаю, какъ однажды засталъ ихъ въ кухнѣ за ширмой. Она клялась ему, а онъ курилъ ея папиросу и пускалъ ей дымъ въ лицо. Но, однако, поѣдемте... Скорѣе, а то уже темнѣетъ... Поѣдемте!

— Я еще не сошелъ съ ума настолько, чтобы изъ-за какого-нибудь мальчишки безпокоить ночью благородную, честную женщину!

— Благородная, честная... Тряпка вы послѣ этого, а не слѣдователь! Никогда не осмѣливался бранить васъ, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халатъ! Ну, голубчикъ, Николай Ермолаичъ! Пропу васъ!

Слѣдователь махнулъ рукой и плюнулъ.

— Пропу васъ! Пропу не для себя, а въ интересахъ правосудія! Умоляю, наконецъ! Сдѣлайте мнѣ одолженіе хоть разъ въ жизни!

Дюковскій сталъ на колѣни.

— Николай Ермолаичъ! Ну, будьте такъ добры! Назо-

вите меня подлецомъ, негодеємъ, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дѣло вѣдь какое! Дѣло-то! Романъ, а не дѣло! На всю Россію слава пойдетъ! Слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ васъ сдѣлаютъ! Поймите вы, неразумный старикъ!

Слѣдователь нахмурился и нерѣшительно протянулъ руку къ шляпѣ.

— Ну, чортъ съ тобой!—сказалъ онъ.—Ѣдемъ.

Было уже темно, когда шарабанъ слѣдователя подкатилъ къ крыльцу станowego.

— Какіе мы свиньи!—сказалъ Чубиковъ, берясь за звонокъ.—Безпокоимъ людей.

— Ничего, ничего... Не робѣйте... Скажемъ, что у насъ рессора лопнула.

Чубикова и Дюковскаго встрѣтила на порогѣ высокая, полная женщина, лѣтъ двадцати трехъ, съ черными, какъ смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.

— Ахъ... очень пріятно!—сказала она, улыбаясь во все лицо.—Какъ разъ къ ужину поспѣли. Моего Евграфа Кузьмича нѣтъ дома... У попа засидѣлся... Но мы и безъ него обойдемся... Садитесь! Вы это со слѣдствія?..

— Да-съ... У насъ, знаете ли, рессора лопнула,—началъ Чубиковъ, войдя въ гостиную и усаживаясь въ кресло.

— Вы сразу... ошеломите!—шепнулъ ему Дюковскій.—Ошеломите!

— Рессора... Мм... да... Взяли и заѣхали.

— Ошеломите, вамъ говорятъ! Догадается, коли канителить будете!

— Ну, такъ дѣлай, какъ самъ знаешь, а меня избавь!—пробормоталъ Чубиковъ, вставая и отходя къ окну.— Не могу! Ты заварилъ кашу, ты и расхлебывай!

— Да, рессора...—началъ Дюковскій, подходя къ становихѣ и морща свой длинный носъ.—Мы заѣхали не для того, чтобы... э-э-э... ужинать и не къ Евграфу Кузьмичу. Мы пріѣхали затѣмъ, чтобы спросить васъ, милостивая государыня, гдѣ находится Маркъ Ивановичъ, котораго вы убили?

— Что? Какой Маркъ Ивановичъ?—залепетала становиха, и ея большое лицо вдругъ, въ одинъ мигъ, залилось алой краской.—Я... не понимаю.

— Спрашиваю васъ именемъ закона! Гдѣ Кляузовъ? Намъ все извѣстно!

— Черезъ кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.

— Извольте указать намъ, гдѣ онъ!?

— Но откуда вы узнали? Кто вамъ рассказалъ?

— Намъ все извѣстно-съ! Я требую именемъ закона!

Слѣдователь, ободренный замѣшательствомъ становихи, подошелъ къ ней и сказалъ:

— Укажите намъ, и мы уйдемъ. Иначе же мы...

— На что онъ вамъ?

— Къ чему эти вопросы, сударыня? Мы васъ просимъ указать! Вы дрожите, смущены... Да, онъ убить и, если хотите, убить вами! Сообщники выдали васъ!

Становиха поблѣднѣла.

— Пойдемте, — сказала она тихо, ломая руки. — Онъ у меня въ банѣ спрятанъ. Только ради Бога, не говорите мужу! Умоляю васъ! Онъ не вынесетъ.

Становиха сняла со стѣны большой ключъ и повела своихъ гостей черезъ кухню и сѣни во дворъ. На дворѣ было темно. Накрапывалъ мелкій дождь. Становиха пошла впередъ. Чубиковъ и Дюковский зашагали за ней по высокой травѣ, вдыхая въ себя запахи дикой конопли и помоевъ, всхлипывавшихъ подъ ногами. Дворъ былъ большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. Въ темнотѣ показались силуэты деревьевъ, а между деревьями — маленькій домикъ съ покривившеюся трубой.

— Это баня, — сказала становиха. — Но умоляю васъ, не говорите никому!

Подойдя къ банѣ, Чубиковъ и Дюковский увидѣли на дверяхъ огромнѣйшій висячій замокъ.

— Приготовьте огарокъ и спички! — шепнулъ слѣдователь своему помощнику.

Становиха отперла замокъ и впустила гостей въ баню. Дюковский чиркнулъ спичкой и освѣтилъ предбанникъ. Среди предбанника стоялъ столъ. На столѣ рядомъ съ маленькимъ толстенькимъ самоваромъ стоялъ супникъ съ остывшими щами и блюдо съ остатками какого-то соуса.

— Дальше!

Вошли въ слѣдующую комнату, въ баню. Тамъ тоже

стоялъ столъ. На столѣ большое блюдо съ окорокомъ, бутылъ съ водкой, тарелки, ножи, вилки.

— Но гдѣ же... этотъ? Гдѣ убитый?—спросилъ слѣдователь.

— Онъ на верхней полочкѣ!—прошептала становиха все еще блѣдная и дрожащая.

Дюковский взялъ въ руки огарокъ и полѣзъ на верхнюю полку. Тамъ онъ увидѣлъ длинное человѣческое тѣло, лежавшее неподвижно на большой пуховой перинѣ. Тѣло издавало легкій храпъ...

— Насъ морочать, чортъ возьми!—закричалъ Дюковский.—Это не онъ! Здѣсь лежитъ какой-то живой болванъ. Эй, кто вы, чортъ васъ возьми?

Тѣло потянуло въ себя со свистомъ воздухъ и задвигалось. Дюковский толкнулъ его лѣктемъ. Оно подняло вверхъ руки, потянулось и приподняло голову.

— Кто это лѣзетъ?—спросилъ охрипшій, тяжелый басъ.— Тебѣ что нужно?

Дюковский поднесъ къ лицу неизвѣстнаго огарокъ и вскрикнулъ. Въ багровомъ носѣ, взъерошенныхъ, нечесанныхъ волосахъ, въ черныхъ, какъ смоль, усахъ, изъ которыхъ одинъ былъ ухарски закрученъ и съ нахальствомъ глядѣлъ вверхъ на потолокъ, онъ узналъ корнета Кляузова.

— Вы... Маркъ... Иванычъ?! Не можетъ быть!

Слѣдователь взглянулъ наверхъ и замеръ...

— Это я, да... А это вы, Дюковский! Какого дьявола вамъ здѣсь нужно? А тамъ внизу, что еще за рожа? Батюшки, слѣдователь! Какими судьбами?

Кляузовъ сбѣжалъ внизъ и обнялъ Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула за дверь.

— Какими путями? Выпьемъ, чортъ возьми! Тра-та-ти-то-томъ... Выпьемъ! Кто васъ привелъ сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здѣсь? Впрочемъ, все равно! Выпьемъ!

Кляузовъ зажегъ лампу и налилъ три рюмки водки.

— То-есть, я тебя не понимаю, — сказалъ слѣдователь, разводя руками.—Ты это, или не ты?

— Будетъ тебѣ... Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Про-ведемте-жь, другъ-я, эту... Чего смотрите? Пейте!

— Все-таки я не могу понять, — сказалъ слѣдователь, машинально выпивая водку.—Зачѣмъ ты здѣсь?

— Почему же мнѣ не быть здѣсь, ежели мнѣ здѣсь хорошо?

Кляузовъ выпилъ и закусилъ ветчиной.

— Живу у становихи, какъ видишь. Въ глуши, въ дѣбряхъ, какъ домовою какой-нибудь. Пей! Жалко, братъ, мнѣ ея стало! Сжалился, ну, и живу здѣсь, въ заброшенной банѣ, отшельникомъ... Питаюсь. На будущей недѣлѣ думаю убраться отсюда... Ужъ надоѣло...

— Непостижимо!—сказалъ Дюковскій.

— Что же тутъ непостижимаго?

— Непостижимо! Ради Бога, какъ попалъ вашъ сапогъ въ садъ?

— Какой сапогъ?

— Мы нашли одинъ сапогъ въ спальнѣ, а другой въ саду.

— А вамъ для чего это знать? Не ваше дѣло... Да пейте же, чортъ васъ возьми. Разбудили, такъ пейте! Интересная исторія, братецъ, съ этимъ сапогомъ. Я не хотѣлъ идти къ Олѣ. Не въ духѣ, знаешь, былъ, подѣ шефе... Она приходитъ подѣ окно и начинаетъ ругаться... Знаешь, какъ бабы... вообще... Я, спяна, возьми да и пусти въ нее сапогомъ... Ха-ха... Не ругайся, молю. Она влѣзла въ окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьянаго. Вздупа, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь... Любовь, водка и закуска! Но, куда вы? Чубиковъ, куда ты?

Слѣдователь плюнулъ и вышелъ изъ бани. За нимъ, повѣсивъ голову, вышелъ Дюковскій. Оба молча сѣли въ шарбанъ и поѣхали. Никогда въ другое время дорога не казалась имъ такою скучной и длинной, какъ въ этотъ разъ. Оба молчали. Чубиковъ всю дорогу дрожалъ отъ злости, Дюковскій пряталъ свое лицо въ воротникъ, точно боялся, чтобы темнота и моросившій дождь не прочли стыда на его лицѣ.

Пріѣхавъ домой, слѣдователь засталъ у себя доктора Тютюева. Докторъ сидѣлъ за столомъ и, глубоко вздыхая, перелистывалъ «Ниву».

— Дѣла-то какія на бѣломъ свѣтѣ!—сказалъ онъ, встрѣчая слѣдователя съ грустной улыбкой.—Опять Австрія того!.. И Гладстонъ тоже нѣкоторымъ образомъ...

Чубиковъ бросилъ подѣ столъ шляпу и затрясся.

— Скелетъ чортовъ! Не лѣзь ко мнѣ! Тысячу разъ гово-

ришь я тебѣ, чтобы ты не лѣзъ ко мнѣ со своею политикой! Не до политики тутъ! А тебѣ,—обратился Чубиковъ къ Дюковскому, потрясая кулакомъ:—а тебѣ... во вѣки вѣковъ не забуду!

— Но... шведская спичка вѣдь! Могъ ли я знать!

— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я изъ тебя, чортъ знаетъ, что сдѣлаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковский вздохнулъ, взялъ шляпу и вышелъ.

— Пойду запью!—рѣшилъ онъ, выйдя за ворота, и побрелъ печально въ трактиръ.

Становиха, придя изъ бани домой, нашла мужа въ гостиной.

— Зачѣмъ слѣдователь пріѣзжалъ?—спросилъ мужъ.

— Пріѣзжалъ сказать, что Клязуова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!

— Эхъ, Маркъ Иванычъ, Маркъ Иванычъ!—вздохнулъ становой, поднимая вверхъ глаза. — Говорилъ я тебѣ, что распутство не доводитъ до добра! Говорилъ я тебѣ,—но слушался!

ХУДОЖЕСТВО.

Хмурое зимнее утро.

На гладкой и блестящей поверхности рѣчки Быстрянки, кое-гдѣ посыпанной снѣгомъ, стоятъ два мужика: куцый Сережка и церковный сторожъ Матвѣй. Сережка, малый лѣтъ тридцати, коротконогій, оборванный, весь облѣзлый, сердито глядитъ на ледъ. Изъ его поношеннаго полушубка, словно на линияющемъ псѣ, отвисаютъ клочья шерсти. Въ рукахъ онъ держитъ циркуль, сдѣланный изъ двухъ длинныхъ спицъ. Матвѣй, благообразный старикъ, въ новомъ тулупѣ и валенкахъ, глядитъ кроткими голубыми глазами наверхъ, гдѣ на высококомъ, отлогомъ берегу живописно ютится село. Въ рукахъ у него тяжелый ломъ.

— Что-жь, это мы до вечера такъ будемъ стоять, сложа руки?—прерываетъ молчаніе Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвѣя. — Ты стоять сюда пришелъ, старый шутъ, или работать?

— Такъ ты тово... показывай... — бормочетъ Матвѣй, кротко мигая глазами.

— Показывай... Все я: я и показывай, я и дѣлай. У самихъ ума нѣтъ! Мѣрять циркулемъ, вотъ нужно что! Не вымѣривши, нельзя ледъ ломать. Мѣрять! Бери циркуль!

Матвѣй беретъ изъ рукъ Сережки циркуль и неумѣло, топчась на одномъ мѣстѣ и тыча во всѣ стороны локтями, начинаетъ выводить на льду окружность. Сережка презрительно щуритъ глаза и видимо наслаждается его застѣнчивостью и невѣжествомъ.

— Э-э-э!—сердится онъ.—И того ужъ не можешь! Сказано, мужикъ глухой, деревеньщина! Тебѣ гусей части, а не Иордань дѣлать! Дай сюда циркуль! Дай сюда, тебѣ говорю!

Сережка рветъ изъ рукъ вспотѣвшаго Матвѣя циркуль и въ одно мгновеніе, молодцовато повернувшись на одномъ каблукѣ, чертитъ на льду окружность. Границы для будущей Иордани уже готовы; теперь остается только колоть ледъ...

Но прежде чѣмъ приступить къ работѣ, Сережка долго еще ломается, капризничаетъ, попрекаетъ:

— Я не обязанъ на васъ работать! Ты при церкви служишь, ты и дѣлай!

Онъ видимо наслаждается своимъ обособленнымъ положеніемъ, въ какое поставила его теперь судьба, давшая ему рѣдкій талантъ—удивлять разъ въ годъ весь міръ своимъ искусствомъ. Бѣдному, кроткому Матвѣю приходится выслушать отъ него много ядовитыхъ, презрительныхъ словъ. Принимается Сережка за дѣло съ досадой, съ сердцемъ. Ему лѣнь. Не успѣлъ онъ начертить окружность, какъ его уже тянетъ наверхъ, въ село, пить чай, шататься, пусто-словить.

— Я сейчасъ приду...—говоритъ онъ, закуривая.—А ты тутъ пока, чѣмъ такъ стоять и считать воронъ, принеси бы на чемъ сѣсть, да подмети.

Матвѣй остается одинъ. Воздухъ сѣръ и неласковъ, но тихъ. Изъ-за разбросанныхъ по берегу избъ привѣтливо выглядываетъ бѣлая церковь. Около нея золотыхъ крестовъ, не переставая, кружатся галки. Въ сторону отъ села, гдѣ берегъ обрывается и становится крутымъ, надъ самой кручей стоитъ спутанная лошадь неподвижно, какъ каменная—должно быть, спать, или задумалась.

Матвѣй стоитъ тоже неподвижно, какъ статуя, и терпѣливо ждетъ. Задумчиво-сонный видъ рѣки, круженье галокъ и лошадь нагоняютъ на него дремоту. Проходитъ часъ, другой, а Сережки все нѣтъ. Давно уже рѣка подметена и принесенъ ящикъ, чтобъ сидѣть, а пьянчуга не показывается. Матвѣй ждетъ и только позѣвываетъ. Чувство скуки ему незнакомо. Прикажутъ ему стоять на рѣкѣ день, мѣсяць, годъ, и онъ будетъ стоять.

Наконецъ Сережка показывается изъ-за избъ. Онъ идетъ

въ развалку, еле ступая. Идти далеко, а́нь, и онъ спускается не по дорогѣ, а выбираетъ короткій путь, сверху внизъ по прямой линіи, и при этомъ вязнетъ въ снѣгу, цѣпляется за кусты, ползетъ на спинѣ—и все это медленно, съ остановками.

— Ты что же это? — набрасывается онъ на Матвѣя. — Что безъ дѣла стоишь? Когда же колоть ледъ?

Матвѣй крестится, беретъ въ обѣ руки ломъ и начинаетъ колоть ледъ, строго придерживаясь начерченной окружности. Сережка садится на ящикъ и слѣдитъ за тяжелыми, неуклюжими движеніями своего помощника.

— Легче у краевъ! Легче! — командуетъ онъ. — Не умѣешь, такъ не берись, а коли взялся, такъ дѣлай! Ты!

Наверху собирается толпа. Сережка, при видѣ зрителей, еще больше волнуется!

— Возьму и не стану дѣлать... — говоритъ онъ, закуривая вонючую папиросу и сплевывая. — Погляжу, какъ вы безъ меня тутъ. Въ прошломъ годѣ въ Костюковѣ Степка Гульковъ взялся по-моему Иорданъ строить. И что-жъ? Смѣхъ одинъ вышелъ. Костюковскіе къ намъ же и пришли — видимо не видимо! Изъ всѣхъ деревень народу навалило.

— Потому окромѣ насъ нигдѣ настоящей Иордани...

— Работай, некогда разговаривать... Да, дѣдъ... Во всей губерніи другой такой Иордани не найдешь. Солдаты сказываютъ, поди-ка поищи, въ городахъ даже хуже. Легче, легче!

Матвѣй кричитъ и отдувается. Работа не легкая. Ледъ крѣпокъ и глубокъ; нужно его скалывать и тотчасъ же уносить куски далеко въ сторону, чтобы не загромождать площади.

Но какъ ни тяжела работа, какъ ни безтолкова команда Сережки, къ тремъ часамъ дня на Быстрянкѣ уже темнѣетъ большой водяной кругъ.

— Въ прошломъ годѣ лучше было... — сердится Сережка. — И этого даже ты не могъ сдѣлать! Э, голова! Держать же такихъ дураковъ при храмѣ Божіемъ! Ступай, доску приноси колышки дѣлать! Неси кругъ, ворона! Да того... хлѣба захвати гдѣ-нибудь... огурцовъ, что ли.

Матвѣй уходитъ и, немного погодя, приносить на плечахъ громадный деревянный кругъ, покрашенный еще въ прежніе годы, съ разноцвѣтными узорами. Въ центрѣ круга

красный крестъ, по краямъ дырочки для колышковъ. Сережка беретъ этотъ кругъ и закрываетъ имъ прорубь.

— Какъ разъ... годится... Подновимъ только краску и за первый сортъ... Ну, что-жъ стоишь? Дѣлай аналой! Или того... ступай бревна принеси, крестъ дѣлать...

Матвѣй, съ самаго утра ничего не ѣвшій и не пившій, опять плетется на гору. Какъ ни лѣнивъ Сережка, но колышки онъ дѣлаетъ самъ, собственноручно. Онъ знаетъ, что эти колышки обладаютъ чудодѣйственной силою: кому достанется колышекъ послѣ водосвятія, тотъ весь годъ будетъ счастливъ. Такая ли работа неблагодарна?

Но самая настоящая работа начинается со слѣдующаго дня. Тутъ Сережка являетъ себя передъ невѣжественнымъ Матвѣемъ во всемъ величїи своего таланта. Его болтовнѣ, попрекамъ, капризамъ и прихотямъ нѣтъ конца. Сколачиваетъ Матвѣй изъ двухъ большихъ бревенъ высокій крестъ, онъ недоволенъ, и велитъ передѣлывать. Стоитъ Матвѣй, Сережка сердится, отчего онъ не идетъ; онъ идетъ, Сережка кричитъ ему, чтобы-онъ не шелъ, а работалъ. Не удовлетворяютъ его ни инструменты, ни погода, ни собственный талантъ; ничто не нравится.

Матвѣй выпиливаетъ большой кусокъ льда для аналая.

— Зачѣмъ же ты уголокъ отшибъ?—кричитъ Сережка и злобно таранчитъ на него глаза.—Зачѣмъ же ты, я тебя спрашиваю, уголокъ отшибъ?

— Прости, Христа ради.

— Дѣлай сизнова!

Матвѣй пидитъ снова... и нѣтъ конца его мукамъ! Около проруби, покрытой изукрашеннымъ кругомъ, долженъ стоять аналой; на аналой нужно выточить крестъ и раскрытое евангеліе. Но это не все. За аналоемъ будетъ стоять высокій крестъ, видимый всей толпѣ и играющій на солнцѣ, какъ осыпанный алмазами и рубинами. На крестѣ голубь, выточенный изъ льда. Путь отъ церкви къ Иордани будетъ посыпанъ елками и можжевельникомъ. Такова задача.

Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работаетъ онъ терпугомъ, долотомъ и шиломъ. Крестъ на аналой, евангеліе и епитрахиль, спускающаяся съ аналая, удаются ему вполне. Затѣмъ приступаетъ къ голубю. Пока онъ старается выточить на лицѣ голубя кротость и смиренномудріе, Матвѣй, поворачиваясь какъ медвѣдь, обдѣлываетъ крестъ, ско-

лоченный изъ бревень. Онъ беретъ крестъ и окунаетъ его въ прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнетъ на крестѣ, онъ окунаетъ его въ другой разъ, и такъ до тѣхъ поръ, пока бревна не покроются густымъ слоемъ льда... Работа не легкая, требующая и избытка силъ, и терпѣнія.

Но вотъ тонкая работа кончена. Серезка бѣгаетъ по селу, какъ угорѣлый. Онъ спотыкается, бранится, клянется, что сейчасъ пойдетъ на рѣку и сломаетъ всю работу. Это онъ ищетъ подходящихъ красокъ.

Карманы у него полны охры, снѣжки, сурика, мѣдянки; не заплативъ ни копейки, онъ опрометью выбѣгаетъ изъ одной лавки и бѣжитъ въ другую. Изъ лавки рукой подать въ кабакъ. Тутъ выпьетъ, махнетъ рукой и, не заплативъ, летитъ дальше. Въ одной избѣ беретъ онъ свекловичныхъ бураковъ, въ другой луковичной шелухи, изъ которой дѣлаетъ онъ желтую краску. Онъ бранится, толкается, грозитъ и... хоть бы одна живая душа огрызнулась! Всѣ улыбаются ему, сочувствуютъ, величаютъ Сергѣемъ Никитичемъ, всѣ чувствуютъ, что художество есть не его личное, а общее, народное дѣло. Одинъ творить, остальные ему помогаютъ. Серезка самъ по себѣ ничтожество, лѣнтяй, пьянчуга и мотъ, но когда онъ съ сурикомъ или циркулемъ въ рукахъ, то онъ уже нѣчто высшее, Божій слуга.

Настаетъ крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далекомъ пространствѣ кишатъ народомъ. Все, что составляетъ Иордань, старательно скрыто подъ новыми рогожами. Серезка смирно ходитъ около рогожъ и старается побороть волненіе. Онъ видитъ тысячи народа: тутъ много и изъ чужихъ приходоувъ; всѣ эти люди въ морозъ, по снѣгу прошли не мало верстъ и въшкомъ только за тѣмъ, чтобы увидѣть его знаменитую Иордань. Магвѣй, который кончилъ свое чернорабочее, медвѣжье дѣло, уже опять въ церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли... Погода прекрасная... На небѣ ни облачка. Солнце свѣтитъ ослѣпительно.

Наверху раздается благовѣсть... Тысячи головъ обнажаются, движутся тысячи рукъ,—тысячи крестныхъ знаменій!

И Серезка не знаетъ, куда дѣваться отъ нетерпѣнія. Но вотъ, наконецъ, звонятъ къ «Достойно»; затѣмъ, полчаса спустя, на колокольнѣ и въ толпѣ замѣтно какое-то

волненіе. Изъ церкви одну за другою выносятъ хоругви, раздается бойкій, снѣжащій трезвонъ. Сережка дрожащей рукой сдергиваетъ рогожи... и народъ видитъ нѣчто необычайное. Аналой, деревянный кругъ, колышки и крестъ на льду переливаютъ тысячами красокъ. Крестъ и голубь испускаютъ изъ себя такіе лучи, что смотрѣть больно... Боже милостивый, какъ хорошо! Въ толпѣ пробѣгаетъ гулъ удивленія и восторга; трезвонъ дѣлается еще громче, день еще ясенѣе. Хоругви колышутся и двигаются надъ толпой, точно по волнамъ. Крестный ходъ, сіяя ризами иконъ и духовенства, медленно сходитъ внизъ по дорогѣ и направляется къ Іордани. Машутъ колокольнѣ руками, чтобы тамъ перестали звонить, и водосвятіе начинается. Служать долго, медленно, видимо стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина.

Но вотъ погружаютъ крестъ, и воздухъ оглашается необыкновеннымъ гуломъ. Пальба изъ ружей, трезвонъ, громкія выраженія восторга, крики и давка въ погонѣ за колышками. Сережка прислушивается къ этому гулу, видитъ тысячи устремленныхъ на него глазъ, и душа лѣбитя наполняется чувствомъ славы и торжества.



УПРАЗДНИЛИ!

Недавно, во время половодья, помѣщикъ, отставной прапорщикъ Вывертовъ, угощалъ заѣхавшаго къ нему землемѣра Катавасова. Вышивали, закусывали и говорили о новостяхъ. Катавасовъ, какъ городской житель, обо всемъ зналъ: о холерѣ, о войнѣ и даже объ увеличеніи акциза въ размѣрѣ одной копейки на градусъ. Онъ говорилъ, а Вывертовъ слушалъ, ахалъ и каждую новость встрѣчалъ восклицаніями: «Скажите, однако! Ишь ты вѣдь! А-а-а»...

— А отчего вы нынче безъ погончиковъ, Семень Антипычъ?—полюбопытствовалъ онъ между прочимъ.

Землемѣръ не сразу отвѣтилъ. Онъ помолчалъ, вышил рюмку водки, махнулъ рукой и тогда уже сказалъ:

— Упразднили!

— Ишь-ты! А-а-а... Я газетъ-то не читаю и ничего про это не знаю. Стало-быть, нынче гражданское вѣдомство не носить уже погоновъ? Скажите, однако! А это, знаете ли, отчасти хорошо: солдатики не будутъ васъ съ господами офицерами смѣшивать и честь вамъ отдавать. Отчасти же, признаться, и не хорошо. Нѣтъ уже у васъ того вида, сановитости! Нѣтъ того благородства!

— Ну, да что!—сказалъ землемѣръ и махнулъ рукой.— Внѣшній видъ наружности не составляетъ важнаго предмета. Въ погонахъ ты, или безъ погоновъ—это все равно, было бы въ тебѣ званіе сохранено. Мы нисколько не обижаемся. А вотъ васъ такъ дѣйствительно обидѣли, Павелъ Игнатьичъ! Могу посочувствовать.

— То-есть, какъ-съ?—спросилъ Вывертовъ.—Кто же меня можетъ обидѣть?

— Я насчетъ того факта, что васъ упразднили. Прапорщикъ хоть и маленькій чинъ, хоть и ни то, ни сѣ, но все же онъ слуга отечества, офицеръ... кровь проливалъ... За что его упразднить?

— То-есть... извините, я васъ не совсѣмъ понимаю-съ...— залепеталъ Вывертовъ, блѣднѣя и дѣлая большіе глаза.— Кто же меня упразднилъ?

— Да развѣ вы не слыхали? Былъ такой указъ, чтобъ прапорщиковъ вовсе не было. Чтобъ ни одного прапорщика! Чтобъ и духу ихъ не было! Да развѣ вы не слыхали? Всѣхъ служащихъ прапорщиковъ велѣно въ подручники произвести, а вы, отставные, какъ знаете. Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, такъ и не надо.

— Гм... Кто же я теперь такой естъ?

— А Богъ васъ знаетъ, кто вы. Вы теперь — ничего, недоумѣніе, ээиръ! Теперь вы и сами не разберете, кто вы такой.

Вывертовъ хотѣлъ спросить что-то, но не смогъ. Подъ ложечкой у него похолодѣло, колѣни подогнулись, языкъ не поворачивался. Какъ жевалъ колбасу, такъ она и осталась у него во рту не разжеванной.

— Не хорошо съ вами поступили, что и говорить!—сказалъ землемѣръ и вздохнулъ.—Все хорошо, но этого мѣропріятія одобрить не могу. То-то, небось, теперь въ иностранныхъ газетахъ! А?

— Опять-таки я не понимаю...—выговорилъ Вывертовъ.— Ежели я теперь не прапорщикъ, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало-быть, ежели я васъ понимаю, мнѣ можетъ теперь всякій сгрубить, можетъ на меня тыкнуть?

— Этого ужъ я не знаю. Насъ же принимаютъ теперь за кондукторовъ! Намедни начальникъ движенія на здѣшней дорогѣ идетъ, знаете ли, въ своей инженерной шинели, по-нынѣшнему безъ погоновъ, а какой-то генералъ и кричить: «Кондукторъ, скоро ли поѣздъ пойдетъ?» Вдѣшились! Скандаль! Объ этомъ въ газетахъ нельзя писать, но вѣдь... всѣмъ извѣстно! Шла въ мѣшкѣ не утайшь!

Вывертовъ, ошеломленный новостью, ужъ больше не пилъ и не ѣлъ. Разъ попробовалъ онъ выпить холоднаго квасу,

чтобы прийти въ чувство, но квась остановился поперекъ горла и—назадъ.

Проводивъ землемѣра, упраздненный прапорщикъ заходилъ по всѣмъ комнатамъ и сталъ думать. Думалъ, думалъ и ничего не надумалъ. Ночью онъ лежалъ въ постели, вздыхалъ и тоже думалъ.

— Да будетъ тебѣ мурлыкать!—сказала жена Арина Матвѣевна и толкнула его локтемъ. — Стонеть, словно родить собирается! Можетъ-быть, это еще и не правда. Ты завтра съѣзди къ кому-нибудь и спроси. Тряпка!

— А вотъ какъ останешься безъ званія и титула, тогда тебѣ и будетъ тряпка. Развалилась тутъ, какъ бѣлуга, и—тряпка! Не ты, небось, кровь проливали!

На другой день утромъ, всю ночь не спавшій Вывертовъ запрягъ своего каураго въ бричку и поѣхалъ наводить справки. Рѣшилъ онъ заѣхать къ кому-нибудь изъ сосѣдей, а ежели представится надобность, то и къ самому предводителю. Проѣзжая черезъ Ипатьево, онъ встрѣтился тамъ съ протоіереемъ Шафнутіемъ Амаликитянскимъ. Отецъ протоіерей шелъ отъ церкви къ дому и, сердито помахивая жезломъ, то и дѣло оборачивался къ шедшему за нимъ дьячку и бормоталъ: «Да и дуракъ же ты, братецъ! Вотъ дуракъ!»

Вывертовъ вылѣзъ изъ брички и подошелъ подь благословеніе.

— Съ праздникомъ васъ, отецъ протоіерей!—поздравилъ онъ цѣлуя руку.—Обѣдню изволили служить-съ?

— Да, литургію.

— Такъ-съ... У всякаго свое дѣло! Вы стадо духовное пасете, мы землю удобряемъ по мѣрѣ силъ... А отчего вы сегодня безъ орденовъ?

Батюшка вмѣсто отвѣта нахмурился, махнулъ рукой и зашагалъ дальше.

— Имъ запретили!—пояснилъ дьячокъ шопотомъ.

Вывертовъ проводилъ глазами сердито шагавшаго протоіерея, и сердце его сжалось отъ горькаго предчувствія: сообщеніе, сдѣланное землемѣромъ, казалось теперь близкимъ къ истинѣ!

Прежде всего заѣхалъ онъ къ сосѣду майору Ижицѣ, и когда его бричка въѣзжала въ майорскій дворъ, онъ увидѣлъ картину. Ижица въ халатѣ и турецкой фескѣ стоялъ

посреди двора, сердито топалъ ногами и размахивалъ руками. Мимо него взадъ и впередъ кучерь Филька водилъ хромавшую лошадь.

— Негодяй!—кипятился маіоръ.—Мошенникъ! Каналья! Повѣситъ тебя мало, аиаѳему! Афганецъ! Ахъ, мое вамъ почтеніе!—сказалъ онъ, увидѣвъ Вывертова.—Очень радъ васъ видѣть. Какъ вамъ это понравится? Недѣля ужъ, какъ ссадилъ лошади ногу, и молчитъ, мошенникъ! Ни слова! Не догляди я самъ, пропало бы къ чорту копыто! А? Каковъ народецъ? И его не бить по мордѣ? Не бить? Не бить, я васъ спрашиваю?

— Лошадка славная, — сказалъ Вывертовъ, подходя къ Ижицѣ.—Жалко! Вы, маіоръ, за коноваломъ пошлите. У меня, маіоръ, на деревнѣ есть отличный коноваль!

— Маіоръ,—проворчалъ Ижица, презрительно улыбаясь.—Маіоръ!.. Не до шутокъ мнѣ! У меня лошадь заболѣла, а вы: маіоръ! маіоръ! Точно галка: крр!.. крр!

— Я васъ, маіоръ, не понимаю. Нешто можно благороднаго человѣка съ галкой сравнивать?

— Да какой же я маіоръ? Нешто я маіоръ?

— Кто же вы?

— А чортъ меня знаетъ, кто я!—сказалъ Ижица.—Ужъ больше года, какъ маіоровъ нѣтъ. Да вы что же это? Вчера только родились, что ли?

Вывертовъ съ ужасомъ поглядѣлъ на Ижицу и сталъ отирать съ лица потъ, предчувствуя что-то очень недоброе.

— Однако позвольте же...—сказалъ онъ.—Я васъ все-таки не понимаю... Маіоръ вѣдь чинъ значительный!

— Да-съ!

— Такъ какъ же это? И вы... ничего?

Маіоръ только махнулъ рукой и началъ рассказывать ему, какъ подлець Филька сшибъ лошади копыто, рассказывалъ длинно и въ концѣ-концовъ даже къ самому лицу его поднесъ больное копыто съ гноящейся ссадиной и иавознимъ пластыремъ, но Вывертовъ не понималъ, не чувствовалъ и глядѣлъ на все, какъ сквозь рѣшѣтку. Безсознательно онъ простился, влѣзъ въ свою бричку и крикнулъ съ отчаяніемъ:

— Къ предводителю! Живо! Лупи кнутомъ!

Предводитель, дѣйствительный статскій совѣтникъ Ягодышевъ, жилъ не далеко. Черезъ какой-нибудь часъ Вы-

вертовъ входилъ уже къ нему въ кабинетъ и кланялся. Предводитель сидѣлъ на софѣ и читалъ «Новое Время». Увидѣвъ входящаго, онъ кивнулъ головой и указалъ на кресло.

— Я, ваше превосходительство,—началъ Вывертовъ: — долженъ былъ сначала представиться вамъ, но находясь въ невѣдѣніи касательно своего званія, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вашему превосходительству за разъясненіемъ...

— Позвольте-съ, почтеннѣйшій,—перебилъ его предводитель. — Прежде всего не называйте меня превосходительствомъ. Прошу-съ!

— Что вы-съ... Мы люди маленькіе...

— Не въ томъ дѣло-съ! Пишутъ вотъ... (предводитель ткнулъ въ «Новое Время» и проткнулъ его пальцемъ) пишутъ вотъ, что мы, дѣйствительные статскіе совѣтники, не будемъ ужъ болѣе превосходительствами. За достовѣрное сообщаютъ-съ! Что-жь? И не нужно, милостивый государь! Не нужно! Не называйте! И не надо!

Ягодышевъ всталъ и гордо прошелся по кабинету... Вывертовъ испустилъ вздохъ и уронилъ на полъ фуражку.

«Ужъ ежели до нихъ добрались,—подумалъ онъ: — то о прапорщикахъ да о маюрахъ и спрашивать нечего. Уйду лучше...»

Вывертовъ пробормоталъ что-то и вышелъ, забывъ въ кабинетѣ предводителя фуражку. Черезъ два часа онъ пріѣхалъ къ себѣ домой блѣдный, безъ шалки, съ тупымъ выраженіемъ ужаса на лицѣ. Вылѣзая изъ брички, онъ робко взглянулъ на небо: не упразднили ли ужъ и солнца? Жена, пораженная его видомъ, забросала его вопросами, но на всѣ вопросы онъ отвѣчалъ только маханіемъ руки...

Недѣлю онъ не пилъ, не ѣлъ, не спалъ, а какъ шальной ходилъ изъ угла въ уголъ и думалъ. Лицо его осунулось, взоры потускнѣли... Ни съ кѣмъ онъ не заговаривалъ, ни къ кому ни за чѣмъ не обращался, а когда Арина Матвѣвна приставала къ нему съ вопросами, онъ только отмахивался рукой и—ни звука... Ужъ чего только съ нимъ ни дѣлали, чтобы привести его въ чувство! Поили его бузиной, давали «на внутрь» масла изъ лампадки, сажали на горячій кирпичъ, но ничто не помогало, онъ хирѣлъ и отмахивался. Позвали, наконецъ, для вразумленія отца Пафнутія. Протоіерей полдня бился, объясняя ему, что все теперь кло-

лится не къ уничтоженію, а къ возвеличенію, но доброе сѣмя его упало на неблагоприятную почву. Взялъ пятерку за труды, да такъ и уѣхалъ, ничего не добившись.

Помолчавъ недѣлю, Вывертовъ какъ будто бы заговорилъ.

— Что-жъ ты молчишь, харя?—набросился онъ внезапно на казачка Илюшку. — Груби! Издѣвайся! Тыкай на уничтоженнаго! Торжествуй!

Сказалъ это, заплакалъ и опять замолчалъ на недѣлю. Арина Матвѣевна рѣшила пустить ему кровь. Пріѣхалъ фельдшеръ, выпустилъ изъ него двѣ тарелки крови, и отъ этого словно бы полегчало. На другой день послѣ кровопролитія, Вывертовъ подошелъ къ кровати, на которой лежала жена, и сказалъ:

— Я, Арина, этого такъ не оставлю. Теперь я на все рѣшился... Чинъ я свой заслужилъ, и никто не имѣетъ права на него посягать. Я вотъ что надумалъ: напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошеніе и подпишусь: прапорщикъ такой-то... пра-пор-щикъ... Понимаешь? На-зло! Пра-пор-щикъ... Пускай! На-зло!

И эта мысль такъ понравилась Вывертову, что онъ просіялъ и даже попросилъ ѣсть. Теперь онъ, озаренный новымъ рѣшеніемъ, ходитъ по комнатамъ, язвительно улыбается и мечтаетъ:

— Пра-пор-щикъ... На-зло!

Оглавление

II ТОМА.

	СТР.		СТР.
Изъ записокъ вспылчиваго человѣка	5	Дочь Альбіона	109
Гесс!...	15	На чужбинѣ	113
Местъ	19	Кухарка женится	117
Длинный языкъ	23	Шило въ мѣшкѣ	122
Нервы	27	Драма	127
Кривое зеркало	31	Произведеніе искусства	133
На кладбищѣ	34	Орденъ	137
Сапоги	37	Смерть чиновника	141
Радость	42	Канитель	144
Учный дворникъ	45	Хирургія	147
Въ циркульнѣ	48	Вянтъ	151
Сапожникъ и нечистая сила	52	Капитанскій мундиръ	155
Мальчики	59	Живая хронологія	161
Иванъ Матвѣичъ	66	Восклицательный знакъ	164
Беззащитное существо	72	Ну, публика!	169
Дамы	77	Пересолилъ	173
Поливка	81	Налимъ	178
Приданое	87	Хамелеонъ	183
Свадьба	91	Клевета	187
Темнота	100	Шведская спичка	192
Мыслитель	105	Художество	212
		Упразднили!	218



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 71
Tel. 26-68-63

<http://rcin.org.pl>

F

24.113/
1-2